

## МЕЧТЫ О ПРОШЛОМ

Эркин, сын Алимжана Ишанжан-улы Жолдасова

Предисловие .....	2
ЭТО Я, ГОСПОДИ, СТОЮ И ЖАЖДУ .....	4
ГРУСТЬ ВСЁ РАВНО БЫ ОСТАЛАСЬ .....	4
КОРНИ И ВЕТВИ.....	5
Мама.....	7
Отец Алимжан.....	11
Дед Ишанжан .....	15
Папа Емберген .....	16
Младший брат Виктор.....	19
ГОДЫ УЧЁБЫ В ИНТЕРНАТЕ.....	21
«В МОСКВУ, В МОСКВУ, В МОСКВУ» .....	25
СЛУЖБА НА СЕВЕРНОМ ФЛОТЕ .....	26
СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ .....	29
ЖИЗНЬ МУЗЕЯ И ЕЁ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ «ЭКСПОНАТЫ» .....	34
ХОРОШИЕ ЛЮДИ И «НЕХОРОШИЕ» КВАРТИРЫ.....	41
БЕГСТВО В ПРИЗРАЧНУЮ СВОБОДУ .....	44
О СВОЕЙ ЖИВОПИСИ .....	48
КНИГИ - МОИ ДРУЗЬЯ И СОКРОВИЩА .....	52
«РОДИНА – УРОДИНА» .....	54
О ВЕЛИКОМ СТАРЦЕ.....	56
ЖИВОПИСЕЦ САВИЦКИЙ.....	59
«ПО ДВОРАМ И ДОМАМ – НЫНЧЕ ЗДЕСЬ, ЗАВТРА ТАМ».....	62
ЛЮБИМАЯ АРХЕОЛОГИЯ И НЕНАВИСТНОЕ ДИРЕКТОРСТВО .....	69
ОТНОШЕНИЕ САВИЦКОГО К ЖИЗНИ И К СМЕРТИ.....	75
«НЫНЕ ОТПУЩАЕШИ РАБА ТВОЕГО, ВЛАДЫКО» .....	78
ПРОЩЕНИЯ И ПРОЩАНИЯ.....	81
Послесловие.....	82

## Предисловие

Как неисповедимы пути и дела Твои, Господи, так причудливы и тропы, и судьбы твои, человече! Я понимаю, как и почему носит людей по миру, как и почему встретились в небольшом оазисе среднеазиатской пустыни внук киевского дворянина и внук ишана из казахской степи. Но не могу понять – кто заронил в них искру, которая сожгла их жизни в служении своему призванию? Наверное, тот, кто ответит на этот вопрос, ответит на вопрос о смысле человеческой жизни...

Я, Еруслан и Илия (оба – дети дяди Магжана) в 2011 г. навестили могилу Эркина. Когда ехали с кладбища, Илия подумала вслух:

– Кажется, что его жизнь схожа с судьбами отшельников Ван Гога и Савицкого.

Да, она была права. Судьбы Творцов схожи в следовании единому божественному предназначению, но их жизни как обычных людей всё же различны.

Вот что сказал об этом сам Эркин:

*«30 августа 1979 года. «Нельзя отождествлять свою жизнь с чьей-то и добиваться с ней созвучности. Это путь в тупик. Моя жизнь не будет похожа на чью-то жизнь. Это будет моя жизнь со своими взлетами и падениями, любовью, восторженностью, увлечённостью, смятениями и разочарованиями».*

Художник В. С. Подгурский, первый учитель Эркина, внушал ему с детства, что судьба Художника дана Богом избранным для тяжкого труда вне мирской суеты. И горе тому, кого прельстила эта суета.

Из дневников Эркина: *«Трудное решение стать художником принято, и от него я не отступлю. Когда-то оно принесёт свои чудесные, хотя и горькие, как я подозреваю, плоды. (Какая таинственная фраза выползла из-под ручки.)».*

Мирская суета ловила Эркина, но он сбежал от неё в сотворение своих полотен, рисунков, дневников, в творения любимых писателей, композиторов и в учения Пророков. Эти учения Эркин тщательно изучал, посещал собрания верующих, встречался с пастырями и обсуждал с ними Писания. Он изучал Коран, Хадисы, писания суфиев, читал наизусть Фатиху<sup>1</sup> и некоторые аяты Корана. В православном христианстве он изучал Первописания, их толкования, посещал церковь и был крещён. Изучал Бхагавадгиту и подобные писания. После всего этого пришёл к изучению культуры, литературы и философии Востока.

Он не столько веровал в Бога, сколько искал в учениях Пророков примирения с собой и с миром в отчаянном стремлении к возвышению Духа и в глубоком смирении души и тела. Наверное, на изучение религиозных Писаний его навёл И.В. Савицкий, когда под ночными звёздами над руинами крепостей древнего Хорезма сказал, что Бога нет, как нет и бессмертия души, что всё превращается в прах. Но религию, её традиции и ритуалы необходимо изучать, беречь и следовать им, т.к. они основа культуры народов.

Эркин считал себя сыном разных народов. И как казах (по отцу и жети-ата<sup>2</sup>, память о которых собирал по крупичкам); и как каракалпак (в своих дневниках он мечтал: «Я стану одним из голосов Каракалпакии»); и как русский, думая по-русски и переживая за державу, в которую уехал его сын; и как узбек, когда расспрашивал земляков об их жизни в дальних горных и пустынных кишлаках своей Родины, подрабатывая интервьюером в социологических центрах.

---

<sup>1</sup> Аят Корана

<sup>2</sup> 7 предков, которых должен знать казах

Эркин разделил со своим народом тяготы тех лет, которые были трудными и для множества художников, потерявших поддержку государственных музеев, выставочных фондов и пр. А на «кладбища» частных коллекций он не хотел продавать свои работы, мечтая о том, чтобы его творчество сохранилось для потомков как цельное собрание картин и дневников.

О своих дневниках он писал: *«Дневник – это способ самопознания, осмысления пройденного пути. Это некий творческий акт, где я фиксирую свою жизнь в тексте. Возможно, это графомания, как вид тихого и безобидного помешательства, но это приносит мне утешение. Мои дневники – документ человека с вывернутой душой. Дневники пишут очень одинокие люди, взирая на себя из темницы своего Я, от которого никуда не деться. В воспоминаниях и дневниках я мечтаю не о будущем, а о прошлом. Повидимому, всё то, что я пишу в дневниках, это сыгранный сценарий трагикомедии моей жизни с завязкой сюжета, с грустными и смешными интермедиями и, конечно, с развязкой и опусканием занавеса».*

Свои дневники Эркин вёл с 1976 по 2011 годы. В них отражено множество деталей, связанных с его судьбой, с судьбами известных и неизвестных художников, родственников и друзей, в том числе тех, кого называют «бедные люди» и «униженные и оскорблённые» в русской литературе. Перечитывая свои дневники, Эркин писал: *«Задумал я роман в условных главах: «Отец, мать и отчим», «Школа, Подгурский, Фаина Перова, Дубровин и пр.», «Институт, Кокоткин, Чернышёв», «Художники», «Нукус, Савицкий и Музей», «Археология», «Семья – Люда, Алим и Азиме», «Ольга, Арслан и Витя», «Туков, Квон, кришнаит Саша» и т.д. Но надо непременно продолжать дневники как материал для этого романа».*

Кажется, что в его дневниках упомянуто слишком много имён, которые могут ничего не сказать одним читателям, но другим могут сказать что-то новое и важное, в том числе историкам, философам, психологам и социологам искусства.

В искусстве Эркин стремился к искренности и честности в отношении к миру и людям, о чём писал в своих дневниках: *«Мои ошибки, метания, разброд, смятение мыслей искренни, поэтому я верю себе, когда в этой искренности иду к познанию мира, природы, людей. Ведь люди прекрасны своей искренностью и естественностью. И величие философов, пророков создано глубочайшей естественностью, простотой и искренностью в сострадании людям и потому трогают людей. И в искусстве так же, оно может тронуть сердца людей только в искреннем сострадании и любви к ним».*

Наверное, это отношение к миру, людям и искусству и привело его с 14 лет к служению И.В. Савицкому, который стал для Эркина образцом служения своему призванию. Об этом говорит то, что Эркин оставил после себя тысячи живописных работ и рисунков, из которых около 250 были приобретены Савицким и нукусским Музеем.

Эркин не только писал картины, но и очень много фотографировал, приостанавливая время. Он пишет об этом: *«Однажды старые фотографии вызовут из памяти былое, далёкие встречи, людей, их лица. Чьи-то улыбка, взгляд пробудят тоску по былому, по тому, чего никогда больше не будет. Пожалуй, ряд этих фотографий и есть созерцание медленного течения времени от былого к сегодня, которое тоже станет когда-то былым».*

Далее текст основан на дневниках самого Эркина, часть содержания которых собраны мной под теми или иными заголовками и с моими примечаниями и ссылками. Сокращённый вариант этого текста был опубликован в журнале «Звезда Востока» № 2, 2013 г.

Арустан Жолдасов

## ЭТО Я, ГОСПОДИ, СТОЮ И ЖАЖДУ

### ГРУСТЬ ВСЁ РАВНО БЫ ОСТАЛАСЬ

*«Грусть всё равно бы осталась». Винсент Ван Гог. Из письма-прощания с братом Тео.*

Сегодня 15 ноября 2011. Дальше откладывать нельзя. Я едва дышу. Болезнь моя похожа на грудную жабу, от которой умер Художник Валентин Александрович Серов; на последнюю болезнь Савицкого; на болезнь моего отца Алимжана; на болезнь Алексея Квона, моего старшего друга. Не знаю, сколько мне осталось жить, но эту оставшуюся часть я хочу прожить честно и с достоинством и так же описать в дневниках свою жизнь и жизнь тех, кого храню в своей памяти.

Мои воспоминания и дневники – нечто вроде автопортрета в живописи: попытка воплотить себя в тексте, попытка постижения себя мыслящей материей, пусть даже только для самого себя. И не важен результат – что будет с моими воспоминаниями и принесут ли мне известность? Неважно. Это нужно мне самому – пройти по пути своей памяти и ещё раз пережить жизнь в контексте десятилетий 1950-х - 2000-х годов их вызовов, перед которыми я устоял или не смог устоять.

Пишу не для Истории, она переполнена жизнями таких же людей как я. Но та часть жизни, которая соприкасалась с судьбами близких мне людей, особенно с жизнью Игоря Витальевича Савицкого и под сенью его гения, может представлять интерес, как минимум, для моего сына. Надеюсь, сын через мою судьбу увидит судьбу страны и моего поколения. Сквозь дымку веков он сможет разглядеть призрачные пути своих предков. Он должен понять, что мы продолжаем жизнь наших праведных предков и должны быть достойны их для самоуважения. Ведь для того, чтобы превратить человека в скот, достаточно лишить его Слова.

И, конечно, очень важно оставить память о современниках. Неважно, как ты добываешь хлеб насущный, если хранишь и оставляешь для потомков память о тех, кто заслуживает светлой Памяти, и сам оставляешь о себе такую же память. Смерти нет, если есть память поколений. Об этом святой Винсент Ван Гог написал единственное стихотворение: «Не верь, что мёртвые - мертвы. Покуда в мире есть живые и те, кто умер, будут жить» От этих строк веет меланхолией и мрачным фанатизмом раннего Винсента, периода его подготовки к миссии проповедника. (Я думаю, что его картины и рисунки, в сущности, те же проповеди, но красками на холсте и бумаге).

Конечно, в воспоминаниях хорошо бы было следовать хронологии. Но придётся перемещаться из одного времени в другое, из одного события в другое, от одного лика к другим. Время тянется прямо и неуклонно, а память вся в переплетениях событий, где глубокий старик может быть гораздо ближе к своему детству, чем в юности. Возможно, так замыкается круг жизни, где старость цепляется за воспоминания детства в ожидании смерти.

Рождение и смерть. Одно великое небытие соприкасается с другим, и промелькнувшая жизнь, как нечто драгоценное и эфемерное, была, кажется, лишь чудом сновидений в череде обыденных дней, которые перемальвают жизнь всякого человека в «сундук» его воспоминаний, до тех пор, пока «сундук» не исчезнет в бесконечном пространстве небытия или в чьём-то чулане. Есть ли какой-то смысл в этом «сундуке», полном тоски, страха и однообразия? Наверное, есть. Иначе Что же заставляет меня фиксировать память в дневниках?

Перейдя рубеж 50-ти лет, оглядываюсь на свою жизнь и с горечью вижу, что она пролетела так быстро и тщетно! В ней сделано много ошибок, потеряно много драгоценного времени на сущие пустяки, но не построен дом, нет крепкой и большой семьи, не признано моё искусство. Накопленные знания и труды не принесли пользы ни мне и никому другому. А потому и, если я не нужен миру, – уйду от мира в себя и в воспоминания, в которых вижу как я сам загубил свою единственную жизнь пьянством, ленью, нерешительностью, трусостью, растерял друзей, не приобрёл новых, не приобрёл богатства, славы и сейчас влачу жалкое существование, как Иов, раздирая свою душу. Оттого я часто был близок к самоубийству. Но страшно было думать, что мир будет существовать без меня и моё кратковременное осознание своего бытия исчезнет без следа.

Видимо, во мне слишком развита рефлексия. Скорее всего, все эти переживания – это надрывы души, задавленной в суе выживания в несвободе, в отсутствии близких мне по духу людей, в моих метаниях из одной крайности в другую. Теперь же, с большим, нежели раньше, самообладанием привыкаю к себе и, пережив кораблекрушения, продолжаю своё плавание, но сменив курс. Мне теперь не нужны ни мои картины, ни деньги, ни люди. Я уйду в прекрасный мир образов, мыслей и чувств Баха, Пушкина, Вальехо и им подобных гениев. Они реальнее, ценнее и ближе для меня, чем окружающая меня пустыня. Я размышляю вместе с ними, радуюсь и горюю, иногда проливаю слезы. А родственники и друзья – это уже прошлое, как умершее. Можно, конечно, погоревать о них, как о покойниках. Но лучше мне говорить с ними в своих дневниках, где ни они мне, ни я им уже не сделаем больно, как это бывает у живых.

А какое было у меня детство и какая прекрасная мечта – сделать людей лучше и добрее своим революционно-монументальным искусством! С размаху и сразу! В юности я был восторженным идеалистом, полон радужных надежд, верил в великую миссию художника, в силу его духовности. Всю жизнь я бежал от мира корысти, но не заметил, как с разбега влетел в комнату смеха. В ней я бился в кривые зеркала и об таких же, как я. Когда увидел в этих зеркалах себя и их как чудовища, то закрыл глаза и обратил взгляд в себя, чтобы найти опору в самопознании, вернуть душевное равновесие, описывая свою жизнь. В этом описании я увидел, как в бездне моей души добро борется со злом, как шлюпка с бурным морем.

Но знаю теперь, что море когда-то успокоится, и тогда я найду покой своему сердцу. Всё простится и всё забудется, и верю я - останутся судьба и душа моя, запечатлённые в текстах, в рисунках, в живописи, в том немногом большом и светлом, что я искал и нашёл в своей жизни.

## **КОРНИ И ВЕТВИ**

Велико счастье родиться на земле человеком. В детстве думаешь, что рождение было неизбежностью, а с возрастом понимаешь, что тебе просто выпал счастливый случай в переплетениях бесконечных поколений твоих предков. И пытаться оставить о себе память без памяти о них – это значит отказать им в заслуге появления твоей жизни. А потому, если осмысливать свой личный путь, то только как продолжение пути своих предков от истоков и до устья.

Из самого раннего детства помню, как мать брала меня к себе под тёплое одеяло. Чуть позднее из одеяла и подушек я делал себе убежище, где было такое же ощущение тепла, покоя и уюта. Видимо, это связано с воспоминаниями плода о пребывании в утробе матери.



Витя на руках мамы, я на руках у отца и позади нас Арслан.

Села Солдатского, где я родился, не помню. Не помню и отца. Когда он умер, в 37 лет, мне было три года. Но отчётливо помню запах его мотоцикла «Днепр». Помню, как отец заводил его, как вёз меня в коляске. И сейчас, когда слышу запах мотоцикла, то вспоминаю отца.

Помню, как я бегал с кружкой за молоком через большой (наверное, он мне казался большим) двор к маме, которая доила корову. Помню, как мама, уходя на время из дома, привязывала меня к столу или к кровати, и я спокойно сидел возле них до её возвращения. Но как-то низко пролетел самолёт, я испугался, спрятался под стол и плакал.

Из детства в Нукусе помню уют зимних вечеров у печки-буржуйки, которую я топил углём. Этот «угольный» опыт мне пригодился, когда топил печи в Музее.

Вспомнился и фильм «Мальчик-с-пальчик» в летнем кинотеатре «Родина» – о дровосеке, детях, людоеде, – и в каком-то страшном месте я вдруг во весь голос заревел. Почему-то все вокруг смеялись. С детства и даже взрослым я был робок и особенно боялся смерти во всех её видах. Наверное, поэтому я не поехал к умирающему Савицкому в Москву и не навестил умирающего папу (отчима.) Только став стариком, я пересилил этот страх когда кормил и мыл умирающую маму...

В детстве день казался бесконечным, а путь в школу был настоящим путешествием. Не говоря уж о целом походе! на канал Кызкеткен, где мы, братья и друзья, купались или рыбачили. Друзья-ровесники у меня были по всей улице. Один из них – П. Мы с Арсланом до сих пор считаем себя виноватыми перед ним. Однажды трёхлетний братишка П. увязался с нами купаться на канал Кызкеткен, с его с коварными берегами и быстрым течением. Когда собрались возвращаться, мы нашли только его майку и подумали, что он ушёл домой, забыв её. Вернулись домой и сподличали, попросили отнести майку нашего младшего брата, Витю. Ему было около трёх лет, и он не понимал, что ему предстоит сделать. Через несколько минут вдали улицы раздался плач и крики. А Витя прибежал обратно бледный и испуганный. Мне тогда было четыре, а Арслану шесть лет. Несмотря на случившееся, П. продолжал со мной дружить. Но когда он стал кем-то вроде начальника, то перестал здороваться, «не замечал».

В школьные годы мы сидели с друзьями у арка перед домом, смотрели в ночное небо и мечтали о звёздных путешествиях. Я любил пересказывать друзьям книги - фантастику, из тех, что брал в библиотеке педагогического института, куда меня записал папа.

Как-то прочёл детскую книгу «Тимур и его команда», Гайдара. Это книга поразила меня и друзей. Мы создали тимуровскую команду на своей улице, а потом и в школе. Сейчас, когда мы встречаемся с ровесниками, они с грустной радостью вспоминают об этой команде. Мы бегали к бедным одиноким старушкам и помогали им. Забирались на крышу четырёхэтажки в нукусских «Черёмушках» и высматривали в бинокль – кому бы ещё помочь. О своих родных забывали, не понимая, что помогать надо было прежде всего своим близким. Тогда не было бы нужды помогать старушкам, у которых были бы свои и родные «тимуровцы».

А ведь дома всегда было чем заняться. Мать с утра до утра работала, и мне приходилось заниматься домашним хозяйством. Даже прозвище у меня было – «завхоз-домхоз». Помню уют зимних вечеров у печки-буржуйки, которую я топил углём. Этот «угольный» опыт мне пригодился, когда я месяцами топил печи в Музее. В шесть-семь лет я умел готовить даже плов, ходил на базар, покупал все, что надо было по хозяйству – уют, напёрстки, мясо, хлеб. Домашняя «касса» была у меня. И, кажется, что всё детство я простоял в магазинах в очередях за продуктами. По 3-4 часа стоял, например, в очереди за мясом, которое стоило в магазине 1 рубль 80 копеек, а на базаре - 2 рубля. За 20 сбережённых копеек можно было купить целую буханку хлеба, за которым тоже были большие очереди, даже за жёстким «хрущёвским» кукурузным хлебом со странным привкусом. Но мне он нравился. Вкуса не магазинного хлеба почти не знал, мама редко пекла хлеб, но это был самый вкусный хлеб, который я ел когда-либо в своей жизни.

### Мама

Маму звали по-разному – в зависимости от места, где она жила: Хание Куртсеитова в Крыму; Ханна в Германии, Анна Жолдасова в Самарканде, Хадича Даулетбаева в Нукусе. У мамы в паспорте была запись «крымская татарка». Но моя двоюродная сестра Илия, которая видела её документы, когда жила у нас в селе Солдатском, говорила, что тогда в документах была запись: «национальность – еврейка». Запись же «крымская татарка» была уже в последнем мамином паспорте. Возможно, она и в самом деле была «крымская татарка», или же отец в начале 50-х годов, после антисемитской травли евреев, начавшейся с дела «врачей-космополитов», сумел «договориться» и ей сменили паспорт, переписав в крымскую татарку. Он был уважаемый человек, фронтовик, главный ветврач в Нижнечирчикском районе Ташкентской области и депутат районного совета двух созывов.

Вот что я записал из воспоминаний мамы:

«Я родилась в 1927 году в г. Ялта, где жила с мамой и папой в доме на набережной, напротив гостиницы «Ореанда». Папа меня баловал, носил на своих плечах. Я любила петь и танцевать, за что получала подарки от соседей и призы на детских конкурсах. У нас был свой сад и поле с пшеницей. В конце 20-х годов родственники звали отца бежать от большевиков в Турцию. Он отказался, остался в Крыму и, наверное, очень жалел об этом. Ему пришлось отдать новой власти сначала сепаратор, фэтон и лошадь, а потом и корову. Переживал от того, что не мог кормить нас с мамой и умер, по-моему, в 1931 году. После смерти отца мы голодали ещё сильнее. Ходили по крымским аулам за едой, которую обменивали на поношенную одежду. Помню, как я уснула, положив голову на её колени, когда усталая мама сидела на придорожном валуне. Как-то раз я залезла на дерево в чужом саду, хозяин меня грозно спросил, что я там делаю? Я честно ответила, что кушаю,

а не ворую. Он сначала растерялся, а потом сказал, чтобы я больше не лезла в его сад, но с дерева не согнал.

Айше, моя мама, работала кем-то в колхозе, потом в каком-то санатории. После начала войны она оставила меня тётё, сказав, что мобилизована в горы, в партизанский отряд. Там и пропала без вести во время войны.

Как я попала в детдом – не помню. В детдоме были дети всех возрастов, от 2-летних до 17-летних. Детдом пытались эвакуировать из Крыма, когда германские войска подошли в Крыму, но наш поезд попал под бомбы. Мы бежали в лес, спотыкаясь о трупы взрослых и детей. Бродили между двумя фронтами войск голодные в лесу, ели корни трав, ягоды. Много детей погибло от ран и голода. Их трупы сначала пугали, но потом я научилась их «не замечать». Не помню как вернулись в Ялту.

Меня спрашивали после войны, почему я знаю немецкий язык, которому я учила после войны офицеров в Самарканде и школьников в Нукусе. Я обманывала, отвечая, что научил сосед-немец в Ялте. Всю жизнь я таила от вас то, что была в Германии, в Брюсселе и в Париже. Я знала, что если вы будете писать в анкетах, что ваша мама была за границей, то вас будут считать детьми немецкой шпионки. Только после развала КГБ<sup>3</sup> я смогла рассказать вам всё.

На самом деле я выучила немецкий язык в Германии, куда немцы, кажется, в 1942 году вывезли наш детдом. Мне тогда было 15 лет, но выглядела я лет на 10, такой была маленькой. В Германии нас высадили у посёлка Alt Holz<sup>4</sup>, недалеко от Лейпцига. К нам подходили немцы и выбирали – кого взять. Я сидела в обнимку с русской девочкой, с которой сдружилась в дороге. Мы надеялись, что нас кто-нибудь возьмёт вместе.

Один из тех, кто выбрал русскую девочку, был эсэсовец. Он был строг, ругал свою жену, бил её, а мою подружку заставлял много работать и не позволял мне общаться с ней.

Того человека, который выбрал меня, звали Альфред. Он был владельцем ювелирных мастерских в том посёлке и магазина в Берлине. Я не помню его фамилию, как и имя его жены. Как я сейчас поняла - она была еврейкой и редко появлялась в посёлке, потому что Альфред скрывал её, откупаясь от полиции. Жена Альфреда любила меня и называла дочерью.

У Альфреда была мать, я звала её Умма. Когда я начала говорить на немецком языке, то рассказывала ей о Крыме и о своих родителях. Мы с Уммой жили в тихом посёлке, в густом сосновом лесу, в котором не видно было домов за деревьями. Я каталась по посёлку и в лесу на велосипеде, могла оставить велосипед около кинотеатра и смотреть кино. Никто не гнал меня из кинотеатра, хотя все знали, кто я. Иногда с Уммой я стирала белье. У Уммы были большие баки с бельём, а мне она давала маленький тазик. С нами жил пёс, Морхен. С Морхеном я бегала в лес, он играл со мной в прятки, убегал от меня. Его голова выглядывала из-за дерева только тогда, когда я начинала плакать, и опять исчезала, если я переставала плакать.

У Альфреда была дочь Гизела, двадцати лет, очень похожая на отца. У Гизелы был жених, который воевал на фронте. А ещё у Альфреда была племянница Тея, дочь его сестры, светловолосая девочка. Обе любили меня и когда приезжали из Берлина, играли со мной как с младшей сестрёнкой, причёсывали, заплетали косы, надевали на меня разные платья, как на куклу. Один-два раза в месяц меня возили в Берлин, где сёстры

---

<sup>3</sup> Так она называла развал СССР.

<sup>4</sup> Так произносила мама.



гуляли со мной, взяв за руку, но разрешали говорить только шёпотом, чтобы не выяснилось, что я не немка. Мне не разрешали одной выходить на улицу в Берлине, но однажды я послушалась и потом начала спрашивать прохожих – как найти свой дом. Меня схватил за руку какой-то мужчина и начал звать полицейского. Альфред вышел на улицу и увёл меня от него.

В Берлине, в оперном театре, когда я впервые увидела балет, где женщины танцевали с открытыми ногами, чего никогда не видела в Крыму, то так поразила, что чуть не закричала от удивления. Мне успели прикрыть рот Тея и Гизела. А во время другого спектакля злодей крался к хорошему герою спектакля, чтобы убить его, – я опять закричала, предупреждая его. После этого меня в театр не брали, но мы гуляли иногда по магазинам. Когда я показывала на что-то и говорила – «Es ist shon», мне дарили понравившуюся вещь. В новогодние праздники меня ждала под ёлкой самая большая куча подарков.

Война подходила к концу. Военные забрали меня для работы на завод, где не хватало рабочих. Когда меня уводили, мы все плакали. Я работала в подземном цеху в Троймблицене, где упаковывала пачки с патронами. Моя начальница, немка, звала меня «meine Tochter» и не давала тяжёлой работы. Да и не могла я её делать, слишком была слаба.

Старшие девушки и женщины догадывались, что завод могут взорвать вместе с нами, но русский танк успел проломить ворота завода и освободил нас. Две девушки-латышки предложили мне бежать в Европу, чтобы не возвращаться в большевистскую Россию, а я хотела вернуться к маме.

Эшелон в Россию формировался в Париже, куда семья Альфреда проводила меня, дав чемодан, одежду, фотографии и адрес родственников в Брюсселе, чтобы я навестила их по дороге. Родственниками семьи Альфреда была чудом уцелевшая молодая семья евреев с шестимесячным ребёнком. Отец жены до войны был владельцем ателье, где шили плащи. Его и всех их родственников убили фашисты.

Я гуляла в парке с ребёнком и ждала, когда сформируется эшелон в Россию. Отец ребёнка просил меня остаться, говорил, что я похожа на его погибшую сестрёнку. Но я очень хотела найти свою маму. Поехала в Париж, где получила документы и откуда приехала в Москву.

В Москве я заболела, была высокая температура, не было сил носить чемодан. Попросила соседей на Казанском вокзале присмотреть за ним, пошла компостировать билет, а когда вернулась, то соседи исчезли вместе с чемоданом и, самое обидное, с фотографиями. Наверное, чемодан был слишком большой, красивый, кожаный.

Доехала до Ялты, где никого не нашла, все соседи и родственники исчезли. Пришла к своему дому, но там жил какой-то милиционер или военный. Несколько ночей я спала под лестницей своего дома, ходила в горисполком, требовала жилье или комнату, пока меня не отвели в милицию. Я возмущалась, говорила, что война кончилась и что я приехала в свой дом. Почему-то милиционеры хохотали. Я не знала, что всех моих родных и соседей Сталин выслал из Крыма. Одна женщина-милиционер уговорила меня не упрямиться и ехать в Узбекистан, потому что узбеки родственны мне народ и там много фруктов. А иначе, сказала – «Тебя под конвоем отправят на Урал или в Сибирь и ты там погибнешь». Когда я очнулась от обиды под лестницей, где долго плакала, то сама пришла в милицию за направлением в Узбекистан. Приехала в Ташкент только через полгода. В дороге часто болела. Отлежусь в очередном госпитале, и меня опять сажали в поезд.

Из Ташкента меня отправили в Самарканде, где я сначала очень пугалась женщин в черных паранджах.

Как-то пошла в баню, вышла, а хлебной карточки в кармане платья нет, украли. Тяжело было, голодно, но жила в Самарканде как на родной земле. Земляки помогали, устроили на работу лаборанткой в сельхозинститут, где я мыла полы и посуду.

Один из земляков, Абдурахман-ага<sup>5</sup>, до войны был прокурором в Симферополе. Он рассказывал: «Когда выселяли из Крыма, дали 20 минут на все сборы. Солдаты торопили, толкали автоматами, дети и женщины плакали и кричали, коровы мычали, собаки лаяли, блеяли бараны, – над Крымом стоял гул и вой. В дороге погибло много людей. Солдаты трупы выбрасывали из вагона, не давали похоронить». Наверное, за эти разговоры Абдурахмана-ага шесть раз арестовывали. Увозили в клетке в Ташкент на допросы. Каждый раз он прощался навсегда. В 50-е годы он был оправдан и прожил после этого всего два года.

Его дочь, Урие, жила со своей дочерью под Самаркандом. Я дружила с ней, но потом она поссорилась со мной, недовольна была тем, что я вышла замуж за казаха, а не за Аблязиза, её двоюродного брата. Своего внука от младшей дочери я назвала Аблязиз – наверное, чтобы смягчить свою вину перед подружкой, о чём она так и не узнала. Аблязиз, брат Урие, учился с вашим отцом в сельхозинституте. Стал кандидатом наук, сделал карьеру по партийной линии в Ташкенте, женился на русской. Жена его, Таня, скрывала, что ходила домой к родным, с которыми родственники Аблязиза не общались из-за того, что они были русскими.

После смерти вашего отца я потеряла волю, иначе бы не поехала в Нукус. На похороны в Солдатское приехал старший брат отца, продал дом и всё, что можно было продать, увёз нас в Нукус. Когда я вышла из самолёта, мне стало страшно от пыльной бури, которой я никогда не видела, песок бил в лицо и в глаза, я закрыла лицо Вити воротником плаща, он был у меня на руках, а ты с Арсланом забрался под полы моего макинтоша. Так и дошли до дома дяди, где было очень много людей на поминках вашего отца.

По казахскому обычаю меня хотели выдать замуж за родственника вашего отца, но я отказалась, не могла представить кого-то вместо вашего отца. Своим отказом я обидела родственников отца и они дали мне понять об этом. После этого я попросила деньги от продажи дома в селе Солдатском и купила дом на ул. Маяковского, 2.

После того, как мы переехали в свой дом, я заболела туберкулёзом. Видимо, заразилась от сестры вашего старшего дяди, Азизжана, когда жили у него. Долго лежала в тубдиспансере. Вы жили в семье покойного дяди Магжана. Дай Бог его детям и внукам здоровья за их помощь, хотя семья Магжана тоже бедствовала после смерти мужа и отца.

Когда вы втроём приходили в больницу, босые, одетые только в трусы, то стояли под окном и плакали, звали меня к себе. Я тогда решила, что выживу во что бы то ни стало. Пила не только свои, но собирала и пила лекарства, которые отказывались пить другие больные. Давилась, но ела целительную еду из змей или собак, которой больные делились со мной. К туберкулёзу добавилась болезнь сердца. Спас профессор из Ташкента, который случайно оказался в Нукусе, – сделал операцию на сердце. Впоследствии, когда я работала медсестрой в этом же тубдиспансере, мне очень помогли прокормить вас врачи, медсестры и повара.

---

<sup>5</sup> Ага – уважительное обращение или дословно «старший брат»

Медсестрой стала после того, как друг Вашего отца, хирург Бержан Нуров, помог поступить в медицинское училище после болезни. Надо было вас кормить, и я, между занятиями в училище, работала санитаркой в роддоме, в школе преподавала немецкий, а ночью дежурила в больницах за других медсестёр, чтобы заработать больше денег. Вас почти не видела. Вы бегали, занимая хлеб или сахар, по соседям, которые вас подкармливали. Особенно помогали соседи-корейцы, жившие через стенку, помню их детей – Розу, Сергея, Свету.

Дом, купленный мной, мы продали в начале 70-х годов, потому что не могли платить за вашу учёбу в ташкентском интернате. Спасибо друзьям Ембергена<sup>6</sup> по работе в пединституте. Они стали большими людьми и помогли получить трёхкомнатную квартиру на четвёртом этаже «хрущёвки» в «Черемушках». Но как мы мучились в этой «хрущёвской духовке» летом, когда она раскалялась и не остывала даже ночью!

Бог дал мне 6 детей, 11 внуков и 3 правнуков. У меня было и есть всё, что я ждала от жизни. Хочу только одного, найти своих спасителей в Германии и Бельгии. Только сейчас поняла, что они меня спасли от гибели в той войне. А самое горькое, что осталось в жизни – я так и не нашла маму и не знаю где могилы родителей».

### Отец Алимжан

Мой отец, Алимжан, родился в 1920 году в Тамдынском районе, в Каракалпакстане, куда его отец, Ишанжан-ата<sup>7</sup>, бежал из Казахстана. В детстве он баловал Алимжана, как младшего сына. Не давал его обижать, что бы тот ни вытворял.

Где Ишанжан-ата получил образование, в том числе выучил русский язык, неизвестно, но своим детям он помог получить хорошее образование. Когда Алимжану было 9-лет, Ишанжан-ата отвез его из глухого аула Кызылкумов учиться в Бухару, в школу, затем в Ташкентское казахское педагогическое училище.



<sup>6</sup> Отчим Эркина, за которого вышла замуж его мама в 60-е годы.

<sup>7</sup> Ата – дед, отец

Алимжана призвали в армию в 1939 году, а вернулся он в 1945-м. Прослужил семь лет и прошёл войну в тяжёлой артиллерии, отступая до Сталинграда, а затем дошёл до Будапешта. Был два раза ранен.

Алимжан был на 11 лет младше своего брата, Магжан-ага, который очень радовался, что Алимжан живой вернулся с фронта. Магжан-ага послал его учиться в Самарканд и дал денег. Но Алимжан очень тосковал по отцу, которого арестовали и отправили в Карлаг<sup>8</sup>, пока Алимжан воевал. Алимжан на эти деньги вместо того чтобы ехать учиться, поехал искать отца или его могилу. Магжан-ага отругал Алимжана, которого могли арестовать за поиски своего отца – политического заключённого<sup>9</sup>.

На следующий год Магжан-ага сам отвёз Алимжана в Самаркандский сельхозинститут учиться на ветеринарного врача. Магжан-ага сам был ветеринарным врачом, уважаемым в Каракалпакии человеком.

Ишанжан-ата в 1932 г. выучил Магжан-ага на врача в Алмаатинском зооветеринарном институте. После института и работы в Каракалпакии, Магжан-ага был на повышении квалификации в Ленинграде, в ветеринарном институте, где был не только слушателем, но и сам читал лекции, как опытный врач.

Старики Тамдынского района долго добрым словом вспоминали Магжан-ага, который спас от тюрьмы председателей колхозов в этом районе, где пало много овец из-за эпидемии. Следователи утверждали, что, якобы, бараны пали от нердивости председателей, от недостатка корма, от истощения. Магжан-ага при следователях приказал зарезать одного барана и подержал его мясо над огнем. С мяса закапал жир и Магжан-ага сказал следователям, что в мясе отощавших баранов жира не может быть.

Мама рассказывала:

«Алимжан жил в Самарканде в том же доме, где и я, только с другой стороны. Познакомились мы во время избирательной кампании, когда как агитаторы ходили по домам. Затем начали вместе ходить в кино. Как-то он прижал меня к стенке и сказал, а не спросил: «Ты выйдешь за меня замуж!». Он был высокий, два метра и четыре сантиметра ростом, а у меня рост был 1,5 м. Наверное, поэтому я согласилась (мама замолчала, улыбается.) Снимали мы около института маленькую комнату с земляным полом, где стояла буржуйка<sup>10</sup> и железная солдатская кровать.

Когда приезжал из Нукуса Магжан-ага, мы с отцом спали на полу, а Магжану-ага подставляли под ноги табурет к решётке двухметровой железной армейской кровати. Он был ещё выше, чем ваш отец. Магжан-ага привозил сам или передавал через кого-нибудь деньги и каурдак (мясо барана обжаренное в его же сале.) Это мясо можно было долго хранить и есть, добавляя в еду по 2-3 ложки.

Как-то мы стояли в очереди в столовой. Я была беременна, стоять было тяжело. Отец вышел из очереди молодых студентов и встал в очередь к преподавателям, т.к. был взрослый и фронтовик. Один преподаватель стал его ругать и выталкивать в студенческую очередь. Отец сильно его ударил и обозвал «тыловой жид». Тот отлетел и упал.

Когда отца выпустили из милиции, то он плакал от обиды. Его, фронтовика с боевыми наградами, заставляли подметать улицы».

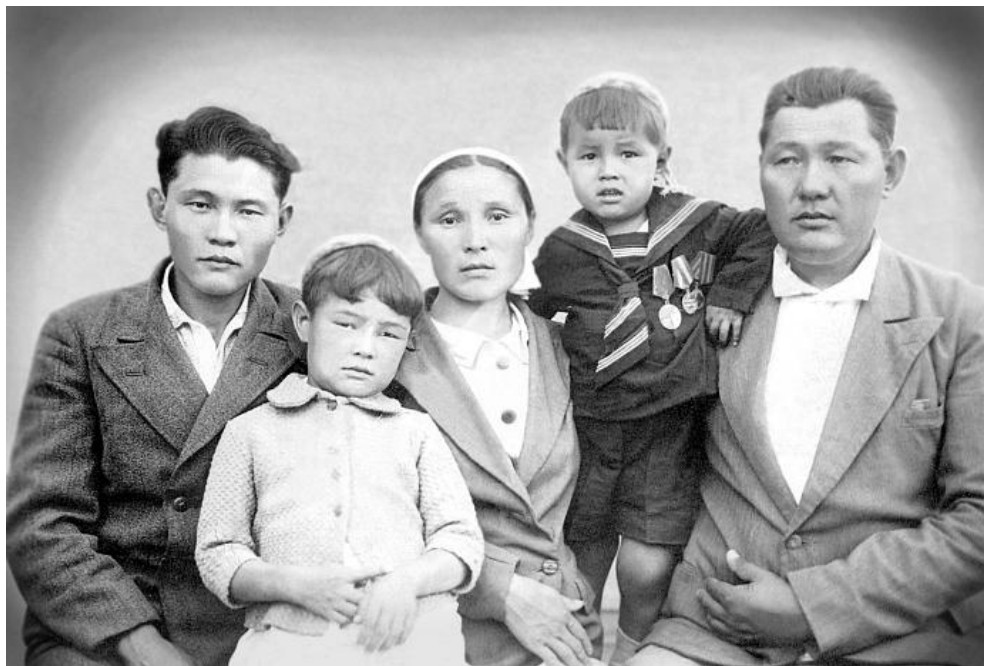
---

8 Карагандинский исправительно-трудовой лагерь — один из крупнейших лагерей ГУЛага (Государственного управления лагерей НКВД СССР)

9 До этого они вместе искали своего отца.

10 Небольшая железная печка

Саним, дочь Магжана-ага, рассказывала, что один из земляков отца, Колхосов, в то время учился на курсах председателей колхозов в Самарканде. Говорят, что он сделал так, чтобы Алимжан-ага не судили. Когда Колхосов вернулся в Каракалпакию, он зашел к Минасаре-женше<sup>11</sup>, жене Магжана-ага (его не было дома) и рассказал, как помог Алимжану. Минасара-женше, не задумываясь, благодарно отдала ему корову. Саним рассказала и про то, Алимжан спросил у Магжана-ага как назвать своего первого сына<sup>12</sup>. Магжан-ага дал ему имя - Арыстан, а Минасара-женше дала имя мне - Еркин.



Алимжан, Иля, Минасара - мама Илии и Руслана (справа от неё), Магжан-ага

Я напомнил маме, что Саним, рассказывала и про то, что когда родственники сосватали Алимжану казашку из Караузяка, он отказался жениться на ней, и Магжан его поддержал.

Мама продолжила: «Я так тогда плакала. И Алимжан меня с нашим первенцем не оставил, сказав: «Пока я жив, я вас не оставлю».

Когда Арслан заболел коклюшем и задыхался от кашля, мы с Алимжаном ночами сидели у канала, где был влажный воздух, которым было легче дышать. Несколько раз отец поднимал Арслана на самолёте, который резко набирал и терял высоту. Так посоветовал доктор – лечить методом резкой смены атмосферного давления.

В очередной приступ кашля, когда мы думали, что наш первенец при смерти, Алимжан взмолился в слезах: «Если тебе, Аллах, так нужна чья-то жизнь, возьми мою. Но оставь жить моего сына!..». Наверное, Аллах услышал и Алимжан прожил недолго после этих слов, всего 6 лет.

В 1951 году Алимжан получил диплом ветеринарного врача, но в Нукус, где жили его родные, нас с ним не пустили. Нукус тогда был секретным городом<sup>13</sup>. Не пустили, наверное, из-за меня, потому что в КГБ знали, что я бывала за границей. Отца направили

<sup>11</sup> Жена старшего брата, родственника.

<sup>12</sup> По обычаю, Алимжан должен был спросить у своего отца, как назвать своего первого сына. У отца он спросить не мог, его уже не было в живых.

<sup>13</sup> В городе стояли войска, которые испытывали химическое и биологическое оружие на Аральском море.

работать в село Солдатское под Ташкентом. Там же родился ты и Витя. Когда студенты, земляки и родственники, которые учились в Ташкенте, приезжали к нему в Солдатское, он устраивал для них пир, поил домашним вином, давал деньги.

Магжан-ага умер в начале 50-х годов. По ночам я иногда просыпалась от того, что Алимжан сидел за столом, плакал и выл от тоски по брату.

Когда я лежала в больнице после операции аппендицита и была беременна тобою, умер Сталин. Все больные, санитарки, врачи плакали. Когда Алимжан пришёл, я бросилась к нему, плакала и причитала: «Кого мы потеряли, умер Сталин!». Он тихо сказал мне: «Будь он проклят! Я думал – что-то с ребёнком случилось».

В 1957 году Алимжан заболел, после того как выезжал на мотоцикле в дождь и снег на фермы (в районе была эпидемия скота.) Сначала лечился дома, потом в ТашМИ, где и умер».

Спустя почти двадцать лет после погребения отца в с. Солдатском я поехал с Сергеем Макариком, другом по интернату, искать могилу отца. Решение найти её пришло внезапно, после пьяных слёз о сиротской моей безотцовщине. Ехали более двух часов на мотоцикле Сергея. Дождь в лицо, промокли, продрогли. Нашли кладбище на холме, разделённом ложбинами на казахское, татарское и корейское. Под проливным дождём, по колено в мокрой траве, рыжей от осени, искали могилу. Не нашли. Постояли между металлическими оградами, вокруг – надписи на чьих-то могилах. Макарик сказал, что и мы все когда-нибудь умрём. И вскоре погиб в драке, в которой вступился за своего брата.

Наверное, посещения кладбищ необходимы и для поминовения усопших близких, и для того, чтобы слышать о неизбежности смерти не в случайном шепотке ветра времени, а в его рёве его иерихонской трубы.

Мой старший друг и коллега по Нукусскому музею Алексей Квон как-то ласково посмеялся над моим, как он считал, напускным «сиротством» и сказал: «Ты жалеешь себя как сироту, хотя сам уже давно отец. Мужик, который стал отцом, не может считать себя сиротой».

Арслан до моих поисков несколько раз пытался найти могилу отца, копался в архивах, советовался со стариками и зрителями кладбища в Солдатском. Старики указали на три заброшенные могилы и отметили одну из них, с ржавой, покосившейся оградой из полосового металла 50-х годов. На этой могиле Арслан и поставил памятник, на том самом склоне холма, где гонялся с детьми за змеёй, пока отца опускали в могилу. Рассказал о поставленном памятнике маме и мне. Поплакали. Так и не знаем до сих пор – отца ли это могила? Наверное, надо было ставить памятник в любом месте холма, а не над неизвестной могилой. Утешает надежда только на то, что может быть, памятник все-таки стоит над отцом. (Недавно мне приснился сон, что мы наши всё же могилу отца, открыли её, мама развязала бинты савана, а отец лежит как будто только что умер).

Как схожи бывают судьбы предков и потомков! Ведь и мать, и отец так и не узнали, где погребены их родители. И наш отец, когда у него родились мы, хоть и не ездил уже в поисках своего отца, но по ночам писал запросы в разные организации, чтобы те сообщили, где и как погиб его отец, и где он похоронен. Недавно Иля прислала копию справки из прокуратуры Казахстана, где сообщается, что наш дед умер в лазарете Бурминского отделения Карлага, где и захоронен в неизвестной общей могиле.

## Дед Ишанжан

Звали моего деда Ишанжан Жолдасов, казах племени табын, рода ажим. Он и был ишаном<sup>14</sup>. Говорят, наш дед хорошо знал русский язык и поэтому его прозвали «Иван-Ишан».

Его отец, наш прадед Жолдас совершил 2 хаджа пешком. А когда шел в третий хадж заболел в пути и вернулся. В местности Аксай в Байганинском районе Казахстана прадед построил мечеть и вырыл колодец. В том колодце до сих пор есть вода. Его потомки раз в пять лет ездили туда на поминки. Машины и другие организационные вопросы решал его правнук, Еруслан. На одной машине везли казан, барана и продукты, а в другой машине ехали родственники.

Еруслан, сын Магжана-ага, рассказывал, что кто-то из предков нашего деда служил некоему чиновнику в Оренбурге и этот предок со своим родом усмирлял башкирские племена, на которые этот чиновник натравливал казахские племена, стравливая между собой башкир и казахов для «divide and rule». После оговорённого срока службы наш предок отказался от набега на башкирские аулы и решил откочевать со своим родом. Его и других предводителей рода высекли и приказали служить дальше. Ночью он сбежал со своим родом, а того чиновника утром нашли зарезанным.

Летом 1990-го года были на два-три месяца открыты архивы КГБ для родственников репрессированных и Арслан, когда получил доступ к архивному делу деда, кое-что успел выписать. Из протоколов дела стало известно, что в годы коллективизации дед был «раскулачен» и осуждён на три года пребывания в концлагерях под Алма-Атой и в г. Гордиевка Новосибирской области. После концлагерей и в ожидании очередного ареста он бежал с родственниками из Табынского района (сейчас Байганинский район Актюбинской области) в Каракалпакию, сначала в Кунград, затем в Тамдынский район, в центр глухих песков Кызылкумов, где числился в совхозе шорником. В деле было отмечено, что, по оперативным сводкам, Ишанжан встречался в Карагуйе с Каракум-ишаном<sup>15</sup>.

В последний раз дед был арестован за то, что после начала войны с Германией обсуждал со стариками, кто победит – «красный» или «белый» конь? Кто-то донёс. Всех арестовали и сослали в концлагерь. Легенда или быль, но говорят, что после этого доносчик пропал, а расследование показало, что к дому доносчика вели следы коня, от дома к проруби в Амударье шли следы коня и доносчика. Обрато к дому шли следы только коня...

Когда Арслан читал дело, сотрудник архива КГБ сказал, что читать протоколы допросов всех участников дела не имеет смысла, т. к. все валят вину друг на друга. Арслан склонился над страницами дела, попросил три минуты, дочитал, выпрямился и гордо сказал: «Проверьте. На моего деда валят вину, а он ни на кого». Сотрудник просмотрел протоколы допросов и с уважением сказал: «Это бывает редко». После этого Арслан попросил фото деда из дела, сказав, что у нас, внуков деда, нет его фотографии. Сотрудник архива отказал. Потом, помедлив, сказал, что выйдет покурить. Арслан понял. Так у нас появилась эта фотография, где кто-то из детей Арслана срезал унижающий деда номерок на фанерке.

---

<sup>14</sup> Духовный лидер родовой или территориальной группы мусульман. В простонародье - святой человек.

<sup>15</sup> Карагуй – одно из отделений КарЛага. Каракум-ишан был в 1920-е годы в Хорезме духовным предводителем повстанцев, сопротивляющихся во главе с Джунaid-ханом нашествию кяфиров-коммунистов.



Ишанжан Жолдасов. Мой дед.

Как следует из документов, дед арестован был в Нукусе 21 апреля 1942 года, осуждён 24 февраля 1943-го, прибыл в Карлаг 30 апреля, где и умер 23 ноября того же года. Какие страдания и думы деда стоят за этими сухими и цифрами, если от них даже сейчас меня охватывает холодный ужас.

В 90-е годы нам прислали справку о реабилитации деда, но мы приняли её не как оправдание деда государством, а как признание государства в своём безнаказанном преступлении.

### **Папа Емберген**

Наш отчим (мы заслуженно звали его «папа»), Емберген Даулетбаев, женившись на моей маме, да ещё с тремя малолетними детьми, пошёл против неписаных родоплеменных и карьерных законов, которые гласили: если хочешь сделать карьеру и стать богатым, женись на родственнице какого-нибудь влиятельного и богатого человека, род которого поможет получить доступ к гербовой печати и счёту в банке, – т.е. стать начальником. Папа поступил наоборот.



Емберген Даулетбаев (на фото – второй слева) с моим братом Витей и с коллегами по педагогическому институту.



Папа рассказывал:

«Мы с дедом жили в Шаббазе<sup>16</sup>, который украшала очень красивая гробница Шайх Аббас Вали. В 1939 г. эта гробница была разрушена по приказу НКВД.

Меня вырастил дед, Даулетбай-ата. Жена деда, Базаргуль, была младше мужа на 19 лет. У них родилась моя мать, Назира, которая умерла в начале 30-х годов от кровотечения во время родов. Мой отец, Нурымбет, редко приходил ко мне, но приносил сладости.

У деда были дети – сын Жанабай и дочь. Когда папе в 50-е годы дали как преподавателю института участок земли в Нукусе, он построил дом и перевёз в него Жанабая-ага из далёкого аула, где не было врачей, чтобы Жанабай-ага мог лечить свои ноги у городских врачей. Врачи не могли помочь и он, когда уж очень болели от ревматизма ноги, грел их во дворе в раскалённом от солнца песке. Дети, закапывая его ноги в песок, спрашивали: «Ата, почему у тебя болят ноги?», он шутливо отвечал: «Потому что я шёл на них 5 лет от караузьякского аула до города Берлина» и показывал на карте школьного учебника географии – как далеко был Берлин от Караузяка. Дети удивлялись – «Зачем надо было так далеко идти в Берлин?», а он так же шутливо отвечал: «Когда я служил в армии, командир приказал расписаться на стене главного дома Берлина». Что такое «командир» и «приказ» – дети знали из фильмов. Ордена и медали дети Жанабая-ага потеряли, когда играли с ними. Мать пыталась отнять их у детей, но Жанабай-ага позволял играть детям со своими наградами, других игрушек у детей не было.

Даулетбай-ата до второй половины 1920-х годов нанимался батраком для работ на полях пшеницы и хлопка. После годов «военного коммунизма», в годы НЭПа<sup>17</sup>, с 1925 по 1929 годы работал в г. Бируни на скотобойне. Построил дом с верандой, сейсхану (двор для крупного скота), у него был свой сад, держал много голубей. Был у него и постоянный двор для колхозников, приезжавших на базар.

На всех тоях<sup>18</sup> дед требовал мою, внука, долю и приносил мне. На этих тоях, бывало, пели озорные песни. В одной из них, это была туркменская песня, женщина хвастается, что у мужа головка «кутака» (пениса) в пять пальцев толщиной.

В не раннем уже детстве меня положили спать под одеялом между двумя женщинами и я долго вертелся, а они говорили мне – «Не вертись!». Но как не вертеться, если не дает уснуть песня про «пять пальцев толщиной».

В одном ауле с дедом жил знаменитый Шоинши-палван<sup>19</sup>, который на равных боролся с хивинскими борцами. Сын Шоинши-палвана, Зарипбай-буйный, был тоже борец. Однажды его в присутствии Усмана Юсупова<sup>20</sup> победил ферганский борец. Зарипбай обругал борца и судей – «Сарты сжульничали». Усман Юсупов рассердился за оскорбительное прозвище узбеков - «сарт», но его уговорили простить Зарипбая.

Нашим соседом был инспектор райфинотдела<sup>21</sup> Нуржан-ага. Он следил, чтобы все платили хотя бы часть налогов и скрывал это от властей, чтобы соседей не арестовали за

---

16 Сейчас г. Бируни.

17 Новая экономическая политика большевиков – вынужденный частичный возврат к частной собственности и к свободному рынку.

18 Той – обрядовое застолье по случаю семейных праздников или поминок

19 Богатырь.

20 Первый секретарь Компартии Узбекистана

21 Районный отдел Министерства финансов

неполную оплату налогов. За это все несли ему подарки - баранов. Он разумно решил, если всех арестуют, то ни государство, ни он вообще ничего не получат.

В ауле жил и Мумин-уста. Он брил весь аул бесплатно, как «сауат ис» (благое дело.) У него были рукописные книги, дастаны (эпосы), стихи суфи Аллаяра, которые он читал на тоях. Сын Мумин-уста погиб на фронте, всего три месяца прожил с молодой женой. После войны он вернулся с фронта без ног, ездил в арбе, буянил, кричал, что он освободил Европу, но не может дома найти работу. Его устроили работать в кооператив инвалидов, там мало платили, и он спился.

В 30-е годы, после сворачивания НЭПа, мы, разорённые непомерными налогами и коллективизацией, переехали в аул Шок-Торангыл, что по дороге от Халкабада в Тахтакупыр. А в Берунийском районе все сады вырубил под хлопок. А какие там были абрикосы! После переезда наш шаббазский дом разрушился, голуби одичали и разлетелись.

В новом ауле сородичи помогли кеусеном (обычай выделять долю нуждающимся переселенцам.) Старую юрту дал Нуржан-ага, которую мы утеплили «шием» – тростниковыми циновками с пухом того же тростника и хлопком. Сосед, Айсары, дал пшеницу на еду и посева, кошму дал сосед Косберген, зерно дали соседи по аулу - Айтым, Самбет, Шылман, Алнияз».

Я привожу все имена, потому что папа, которому тогда не было десяти лет, и полвека спустя с благодарностью помнил эти имена.

Папа хорошо учился, был активным комсомольцем<sup>22</sup>, получил направление на учёбу в педагогический институт – единственное высшее учебное заведение в Каракалпакии того времени. Там же, после учёбы, в 50–60-е годы преподавал историю и атеизм. Слыл честным и принципиальным человеком. Я помню, как он гнал со двора людей, которые просили помочь их детям поступить на обучение в институт и приносили взятки – деньги и баранов.

Спустя 40 лет папу нашел его отец, Нурымбет, и покаялся за то что оставил в детстве папу, предложил искупить свою вину «сут-хакы»<sup>23</sup> - пообещал корову. Во второй раз он пришёл, чтобы папа помог детям Нурымбета поступить в институт. Папа отказал и сказал, что сам он без «коров» поступил в институт, чего желает и его детям. После этого Нурымбет больше не приходил.

В институте папа был одно время партийным организатором компартии. Кто-то сам побоялся, но спровоцировал папу на «излишнюю» критику какого-то ташкентского чиновника. И папу «сослали» в Академию наук, где он проработал до пенсии.

Он много ездил по Каракалпакии от общества «Знание», изучая религиозную ситуацию для отчетов в обком партии и читая с коммунистическим пылом атеистические лекции. Когда я ездил по аулам Каракалпакии, подрабатывая интервьюером для социологических центров, то попал в тот аул, где прошло детство Ембергена и где помнили его деда. Там я скрыл, что имею отношение к папе, и мне рассказали, что в атеистическом раже он велел снести гумбез (усыпальницу) деда, как религиозный символ, неприемлемый для «правоверного» коммуниста. Наверное, папа страдал от этого своего постыдного поступка, а потому никогда об этом не говорил...

---

22 Член коммунистического союза молодёжи.

23 Обычай, откуп за то, что кто-то кормил, вырастил ребёнка.

Чтобы стать профессиональным пропагандистом атеизма, папа изучил Коран, Хадисы, писания суфиев и, особенно, экзистенциального содержания стихи популярного в низовьях Амударьи суфи Аллаяра.

Папа записал мне в блокнот две изумительные суфийские пословицы, которым научил его Даулетбай-ата:

- *«Шариат излесен – олтир жыланды, Хакийкат излесен кыйнама жанынды».* (Если ищешь Справедливости, убей в себе змею, а если ищешь Истину, не мучай свою душу.)

- *«Тениз туби тунгийик – тусерсен де кетерсен, тэуекел туби кайиктык – минерсен де отерсен».* (Суть моря (жизни) - чёрная бездна, попадёшь в неё и пропадёшь. Суть таваккуля (аскеза в суфизме) – лодка, сядь и проплывёшь над бездной моря».

Даулетбай-ата рассказал папе и изумительную притчу о том, как Аллах сотворил из глины Адама и сотворил Душу для вселения в это тело. Душа сопротивлялась, не хотела идти в Адама. Тогда Аллах сделал так, что из глиняного тела Адама зазвучала музыка... и Душа сама потянулась в тело Адама.

Всю жизнь папа так тщательно изучал Ислам, что неминуемо стал мусульманином, хоть и не придерживался пяти столпов этой религии. Наверное, он пришёл к Исламу после следующего случая, который его потряс. В руки имама турткульской мечети попало письмо некоего старика, которое было адресовано Президенту страны (почему-то не муфтию тогдашнего САДУМа<sup>24</sup>.) В этом письме старик разоблачал лицемеров, тех мулл и вообще мусульман, которые, забыв праведные нормы Ислама, вовлеклись в беззакония, в жажду наживы и в стяжательство. Аксакалы мечети возмутились и потребовали поместить обличителя в тахиаташский дом сумасшедших<sup>25</sup>. 76-летний праведник, высокий, белобородый, величественно удалился, призывая правоверных к Истине. (Я тогда сказал папе, что, если бы к тому имаму и к гонителям старика явился сам Пророк, они бы и его отправили в сумасшедший дом).

В 80-е годы, когда папа поддержал инициативу мусульман в строительстве в Нукусе первой мечети, за что имам мечети вручил ему один из первых тогда экземпляров Корана, которые прислали из Саудовской Аравии.

Кстати, папа отмечал, что зарубежные религиоведы считали всех советских имамов неистинными мусульманами, скрытыми коммунистами и «КГБшниками», но папа отрицал это по отношению к не официальным имамам и восхищался знанием Ислама этих имамов, у которых было высшее образование – историческое, медицинское, инженерное и которые сами изучали Ислам.

У папы была очень большая библиотека с сочинениями почти всех философов-классиков, множество исторических монографий, альбомы почти всех известных в мире музеев и художников, вся западная и русская классическая литература, большая подборка пластинок с классической музыкой. Всё это, отчасти, и создало меня, в том числе и то, что папа занимался со мной рисунком и фотографией.

### **Младший брат Виктор**

Младший наш брат, Виктор (так назвал его отец в честь Победы в войне 1939-1945 г.), так и остался, как говорили родственники, «шала-мусульман» (полу-правоверный), потому что не прошёл обряд обрезания. Когда нам, трём братьям, должны были сделать

---

<sup>24</sup> Среднеазиатское духовное управление мусульман.

<sup>25</sup> Так они называли психиатрическую клинику в г. Тахиаташе

обрезание, Витя убежал. Он был очень своенравен и игнорировал отчима и маму, в том числе когда они уговаривали его сделать обрезание. Наверное потому, что некоторые родственники говорили ему, что у него отец неродной и поэтому плохо относится к Вите, а мама, мол, отчима больше любит, чем его, Витю. Тем самым восстановили его и против отчима, и против матери.

Если бы был жив наш отец или Магжан-ага, они бы не допустили, чтобы у Виктора, внука ишана, жизнь прошла большей частью в заключении и в лагерях.

В первый раз Витя попал в детскую колонию после того, как обокрал с товарищами газетный киоск и угнал чей-то «Газик». В ходе следствия выяснили, что он был ещё и подельником воров - «домушников», которые вовлекали детей в воровство у зажиточных «змеев» и «маслокрадов»<sup>26</sup>. Дети залезали в окно через форточку и открывали взрослым вора́м дверь. Руководил пацанами какой-то взрослый «вор в законе», азербайджанец. Как-то этот вор велел Вите спрятать дома обрез, рассчитывая, что незаконное оружие не станут искать в доме парторга пединститута. Витя спрятал, но папа нашёл обрез, побил Витю и сдал обрез в милицию. Мать умоляла Витю бросить этих «друзей», и он попытался им объявить о своём уходе. После чего вернулся весь в крови – «друзья» избили его и пообещали в следующий раз убить. Тогда он сказал матери: «Всё кончено, я не смогу от них уйти».

Когда Витя сидел в Папской зоне, то ему офицеры лагеря пообещали условно-досрочное освобождение, но потребовали за это взятку. Он знал, что у матери их нет. Вите отказали в освобождении. В отместку он облил резиновым клеем склад с калошами (продукцией завода в зоне) и поджёг. Позже обмолвился об этом кому-то из таких же заключённых. Тот донёс. Вместо освобождения Витя получил ещё один срок. После чего умышленно заразил себя туберкулёзом от сокамерников, чтобы иметь основание для отказа от работы на заводе.

После освобождения Витя женился, перестал воровать, но пристрастился к наркотикам, которые помогали ему справиться с горечью своей жизни. Из-за наркотиков его осудили ещё раз. Последнее место, где он отбывал срок, был корпус туберкулёзной больницы Ташкентской тюрьмы. Оттуда он попросил у Арслана 200 рублей, написав, что проиграл их в карты. Арслан, вместо того, чтобы передать деньги ему, обратился в МВД с тем, чтобы Витю защитили от тех, кому он проиграл в карты, а Вите написал: «Деньги нужны мне для того, чтобы кормить детей, а не для твоих игр в карты». Позднее Арслан понял, что поступил, как придурковатый «комсомолец» из советских фильмов, и дал мне деньги, которые я переброесил через тюремный забор Вите. До сих пор Арслан мучается тем, что не передал тогда вовремя деньги: они могли что-то важное решить в жизни Вити, который никогда – ни до, ни после того случая – не просил денег.

Арслан любил Витю больше, чем меня, и защищал его, когда в детстве мы с Витей из-за чего-нибудь дрались. Думаю, Витя простил Арслана, потому что когда уголовники, у которых он был в авторитете, хотели за что-то Арслана «наказать», то Витя сказал: «Это мой брат». И этого было достаточно.

Когда Витя в последний раз вышел на свободу, то попросил меня проводить его на могилу отца. Мы тогда вместе в первый раз поехали в Солдатское. Второй раз он уже сам, перед своей смертью, съездил туда и покрасил бронзовой краской буквы на надгробном памятнике отца.

---

<sup>26</sup> Так Витя называл вороватых завмагов и завскладов, которых считали расхитителями народной собственности

В 80-е годы, за несколько лет до кончины Вити, Арслан рассказал мне, что встретился с ним в Нукусе. Несмотря на то, что Витя был полный и внешне здоров, Арслан вдруг увидел печать смерти на его сером лице и заплакал.

Умирал Витя тяжело. Весь высох, кожа обтянула кости. Он просил спасти его. Говорят, не выдержав страданий, он ввёл себе смертельную дозу опия, – на впалой груди выступила кровь, – облегчённо вздохнул и умер. Ему было 39 лет, почти столько же, сколько нашему общему отцу.

Жаль, что рядом с нами не было мудрых мужчин-родственников, которые не оставили бы могилу Алимжана забытой и спасли бы Витю от его судьбы. Что мы, дети с мозгами «промытыми» книжками Гайдара, могли сделать, и что мог сделать отчим, который слепо следовал «социалистической законности»? А мама была вся в хлопотах по прокорму шести детей.

Конечно, можно найти себе много оправданий, но...

### **ГОДЫ УЧЁБЫ В ИНТЕРНАТЕ**

В сентябре 1966 г. я проснулся рано и услышал разговор матери с отчимом: оказывается, моя первая учительница Ая Имановна сказала им, что у меня способности к рисунку. Родители решили меня отправить учиться в Ташкент, в интернат, где уже учился Арслан. Этот разговор я выслушал, лёжа в постели с закрытыми глазами и с захватывающим чувством предстоящих перемен в жизни. Я был рад ехать в Ташкент, откуда Арслан привозил связки таких вкусных бубликов.

Прилетел в Ташкент. У трапа встретили Арслан и Саша Карпунин. Саша был родом из Чимкента: у него в чимкентской школе обнаружили способности к рисованию и направили учиться в ташкентский музыкально-художественный интернат.

Наш класс примыкал к зданию художественного училища им Бенькова. Если перепрыгнуть с крыши нашего класса на крышу училища, то можно было попасть на его чердак. А там!.. - лежало множество холстов дипломных работ студентов, которые я, восхищаясь, перебирал. На этой же крыше я по воскресеньям писал этюды и рисовал. Учительница литературы, дежурная по интернату, звала меня обедать и выговаривала: «Ты думаешь, что чем выше заберёшься, тем лучше будешь рисовать?!». Как-то я забрался на крышу, а там Саша лакомится банкой своей любимой сгущёнки, спрятавшись от таких же сладён. Но меня угостил и помог дорисовать пейзаж. Все время моей учёбы в школе он относился ко мне с большой нежностью.

Саша пристрастился смотреть индийские фильмы, потому что нашёл в них близкую ему простоту и искренность. В последний раз я его видел, когда уже учился в институте. Длинное старое пальто, рыжая борода и голубые, добрые, детские, искренние глаза. Он сидел перед кинотеатром «Панорамный» на зелёной траве «бисиком» (так он говорил), сняв сандалии (очень любил ходить босой), читал японские хокку и медитировал. Говорил обрывками фраз: «Искусство... я никогда не пойму – откуда оно... наверное... интуитивное самопознание себя в мире». Он уже выставлял свои работы на выставках профессиональных художников. У Саши была гениальная рука рисовальщика, равная руке Рембрандта. Последняя посмертная его выставка была в театре «Ильхом» – несколько из немногих сохранившихся работ. Умер Саша в 38 лет, в 1989 году, – у него с детства было больное сердце. Недавно я увидел в Интернете, что Карпунин внесён в список известных художников России.

В интернате Саша сделал автопортрет из гипса. Это было повальным увлечением учеников художественного отделения после того, как старшекласники, впоследствии известные скульпторы - Фарид Ахмедзянов и Павел Подосинников - показали нам, как

снимать гипсовую маску. Мы намазывали лицо вазелином, вставляли тростиночку в рот для дыхания и заливали лицо гипсом. Странно было потом смотреть на свою маску как на посмертную, вроде маски Пушкина, которая висела у нас в классе.

Фарид Ахмедзянов и в школе, и в институте относился ко мне как к братишке. Он, Павел, «Кука» (Хикмат Гулямов) учились у могучего и колоритного скульптора Рафаила Немировского в мастерской, которая была на заднем хозяйственном дворе бывшего детского дома для одарённых детей. В этом дворе некоторые из них скрывались покурить и «одарённо» играть в лянгу. Но, скорее, в детдоме, преобразованном в 60-е годы в интернат, были не столько одарённые дети, сколько выдающиеся преподаватели музыки и изобразительного искусства.

Детдом номер 20 был создан ещё до войны на Бешагаче, по улице Байнал-милал, 2. Одноэтажные здания с толстенными кирпичными стенами классов и спален располагались в большом дворе с небольшим фонтаном. Для меня тогда это была целая страна! Через узкую дорогу был мясокомбинат. Оттуда иногда доносился смрад. Но оттуда же на площади Бешагач продавали удивительно вкусные пирожки - «гумма» по 4 копейки за штуку. Поколения студентов училища Бенькова, художественного института и института народного хозяйства были вскормлены этими пирожками. За этими пирожками приезжали со всего города, в том числе на своих машинах маститые художники – Перов и его жена искусствовед Фаина Михайловна Перова, их друг художник Талдыкин, – как в молодости. Теперь мясокомбината нет и, конечно, нет той гуммы.

Обучение детей музыке в детдоме началось когда-то с создания при нём духового оркестра. Позднее в детдоме были созданы отделения музыки, изобразительных искусств и балета, куда набирали одарённых детей со всего Узбекистана и Южного Казахстана. Были в детдоме и дети политических мигрантов – греков (Майя Гогу), курдов (Мустафа Иса Мула Шами.)

В 50-е и в начале 60-х годов директором детдома был Михаил Соломонович Оренберг. Легендарный директор. Он создал при детдоме цех по производству пластинок для граммофонов, где несколько часов в неделю работали ученики 9-10-х классов. Часть дохода от цеха использовалась для детей: в спальнях были «кремлёвские» ковровые дорожки, а зимой фрукты на столе. Заработок шёл детям на счёт в сберкассу и после детдома у детей были свои деньги на время становления «на ноги» или «на перо». Некоторые детдомовцы оставались работать в детдоме, как Вася Морозов.

Возможно, этот цех кому-то понадобился – и Оренберг попал под следствие и был осуждён за «хищения и эксплуатацию детского труда». На его место назначили И. В. Он пил, сутками не выходя из кабинета, и в годы его директорства цех пропал. После него директором, но уже Республиканской специальной музыкально-художественной школы-интерната была долгое время Мсырхон Норбутабековна Султанова. Помню, как она, обняв, успокаивала меня, когда я рисовал в мастерской ночью и случилось землетрясение 1966 года, – подо мной трясся пол, вокруг шатались стены, рушилась штукатурка с потолка... Я бледный выскочил во двор, меня трясло от страха.

Вернусь к своему первому приезду в интернат, когда я вошёл первый раз в свой пятый класс. Он был небольшой, и, казалось, всю комнату занимал огромный старик, художник Виктор Степанович Подгурский. Подгурский был глуховат (носил слуховой аппарат в ушах) и потому очень громко внушал нам: «У людей бывают суббота и воскресенье, когда они отдыхают от своей работы и пожинают плоды своего труда. Но у художника нет дней отдыха, у него вечный, беспрестанный труд, а плоды труда сомнительны. Помни, это большой риск - стать художником». А мы стремглав мчались из

класса, не дослушав его, к бутербродам, которые приносили из столовой на большой перемене.

И Фаина Михайловна Перова говорила, что у художника обычно сложный и трагичный путь, редко когда путь бывает лёгким и простым. Наверное, поэтому меня привлекал такой же путь Ван Гога, все письма которого к брату Тео я тогда переписал от руки. Как-то дал их почитать однокласснице Арслана, альтистке Светлане Гайсиной, и получил обратно в сохранности спустя 30! лет в Нукусе, куда она приезжала с симфоническим оркестром.

Слова Виктора Степановича и Фаины Михайловны напомнили высказывание и В.А. Фаворского, гениального графика и искусствоведа, о том, что художником быть легко до сорока лет, дальше – очень сложно. В этом есть глубокая правда. Я тоже оставил живопись в сорок лет. Кончился кураж творчества. Последнее, что я писал, были натюрморты с овощами или с хлебами в ту тяжкую нукусскую осень 94-го года, когда я бегал в поисках заработка, чтобы отправить его детям в Ташкент.

Я видел как-то в музее искусств Узбекистана, в его мраморном вестибюле, гуаши Подгурского с видами старых китайских храмов и прекрасные акварели с подцветкой белилами, с очень точными и тонкими оттенками в тенях. Подгурский после войны вернулся из Шанхая, где была русская эмигрантская колония, с женой-англичанкой (она совсем не говорила по-русски) и с взрослым сыном (он тоже стал художником.) Подгурский преподавал и в художественном училище Бенькова.

За стенами этого училища мы жили в интернате как на уютном островке, где были знакомы каждая тропинка, куст сирени, стена, дерево. Когда шли ночные тёплые проливные дожди, бегали нагишом под дождём. Потом плескались в фонтане с прохладной водой. По-детски дружили, влюблялись, ссорились, мирились.

После Подгурского, вплоть до старших классов, нам преподавал милейший человек и настоящий педагог, художник Владимир Иванович Бойко. А в старших классах нас «захватили» художники-корифеи – Бурмакин, Талдыкин, Плаксин и другие. С большим увлечением мы предавались их урокам и так, что я по субботам и воскресеньям забирался через форточку в закрытые рисовальные классы и ночами работал над натюрмортами, стараясь в акварели добиться точности в передаче блестящей поверхности кумгана и роскоши цвета драпировки. Такое напряжение сказалось тем, что однажды под утро со мной случился приступ мистического ужаса. Мне показалось, что я повис вниз головой, ноги у меня загибаются куда-то за голову, на меня надвигается чудовищная тяжесть, которую я не в силах перенести. Я разбудил одноклассника Рамиля и попросил разрешения лечь под его тёплое одеяло согреться, меня бил озноб. И до интерната, ещё в нукусской школе, у меня были несколько раз приступы такого же помешательства. Вдруг начинало казаться, что мне грозит ужасная опасность, но если я скручу себя в спираль, то этой опасности можно избежать. Я просил друзей прижать мои ступни к полу и старался скрутиться вокруг себя. Скрутиться не получалось, но попытки помогали.

Классом старше учился Валера У., детдомовский мальчик. Мы вставали в 5 часов утра, бегали «качаться» на турнике. После интерната, когда он учился в институте, он женился на старшей дочери художника М., который был учеником А. Волкова (хотя Савицкий отрицал это ученичество.) Позднее я узнал, что Валера погиб. Потерял несколько тысяч рублей, тогда это была колоссальная сумма. То ли не перенёс упреков жены или тестя, то ли сам сильно переживал – и покончил с собой.

После школьных уроков, пообедав, я отправлялся до вечера на этюды. Приходил уже затемно, мыл кисти с хозяйственным мылом в раковине у входа в столовую и шёл

ужинать. И меня кормили повара на кухне, даже если ужин давно прошёл и столовая была закрыта.

За 22-м кварталом Чиланзара, в кишлаке, стояли безлюдные дома, а среди полей было старинное, но не заброшенное кладбище, засыпанные золотыми листьями, небольшие побелённые известью мазары<sup>27</sup>, тихие аллеи, скамейки, вековые деревья, редкие старики, обрыв реки и... небеса! Талдыкин, не зная о кладбище, но, видимо, ощущая настроение от моих акварелей, смотрел на мои этюды и ворчал: «Ты так трагически пишешь, будто тебе ботинки жмут. Откуда трагизм?! Тебе 14 лет. Будь самим собой». (Несколько тех этюдов я подарил Фаине Михайловне Перовой.)

С детства я любил музыку. Папа ставил для меня пластинки – «Парад зверей» Сен-Санса, Паганини, марш из оперы «Аида», оперу «Севильский цирюльник», хоралы Баха, чьи воображаемые портреты я писал. Один из них понравился моему брату Вите, который похвалил, сказав: «Этот портрет очень удачный!».

К музыке нас приобщал в интернате композитор Борис Дубровин. Он устраивал необычные музыкальные вечера, сопровождая музыку показом репродукций художников – современников тех или иных композиторов. Дубровин был учеником знаменитого композитора Козловского. А Козловский, в свою очередь, был другом художника Александра Волкова. Помню, Дубровин показывал мне запрещённую Библию и говорил, что эту Библию Козловскому подарил сам Александр Николаевич Волков.

В старших классах Дубровин подшучивал надо мной, говоря, что я подражаю Модильяни, – когда увидел однажды, что я пишу картину, слегка выпив. А заметив мои юношеские томления, посоветовал прочесть роман Арагона «Орельен». Я прочёл и был очень взволнован любовью Орельена к Беренике.

Преподаватели Дубровин и Плаксин подталкивали нас к поискам параллелей между музыкой и живописью. Музыку я потом искал в живописи, где линией пытался передать мелодию, а в цвете – гармонию как в музыке.

Сказывалось на интересе к музыке и то, что ученики художественного отделения учились в одном классе с учениками-музыкантами. Бывало так, что те, кто окончил музыкальное отделение, становились художниками, но почему-то не наоборот. Например, Таня Литвинова окончила школу как музыкант, а в Ашхабаде обучалась в художественном училище. И сейчас работает в ашхабадском ТЮЗе<sup>28</sup> художником.

Один год я ходил почти ежедневно в оперный театр им. Навои. Познакомился с работниками театра настолько, что свободно входил через служебный входа в театр, где делал наброски с балерин, и с парящих на сцене, и за кулисами, где они стоят, согнувшись, держась за верёвку и, тяжело дыша, говорят друг другу: «Ой... всё... больше не могу!...»..., и вдруг вылетают на сцену и опять легко парят в фуэте<sup>29</sup>.

Ах, театр! Красные роскошные кресла, блеск огромной люстры, позолоченный орнамент стен, витые колонны, бездушное железо и тросы механизмов сцены - держащие прекрасные декорации в переливах света и цвета. Балерины - стройные ножки, смех, улыбки, синие веки, локоны, дешёвые блёстки, потоки пота со спин и грудок в старые халаты. Но красивые до умопомрачения! А рядом танцоры - «воины» в шароварах, иронизируют, смеются, сплевывают на пол. В микрофоне гремят приказы, затем просьбы и потом уже усталые мольбы к актёрам режиссёра, художавого молодого человека. В

---

27 Надмогильные постройки

28 Театр юного зрителя

29 Эти наброски не сохранились в архиве Эркина.



креслах сидят директор - «супермен» в черных очках, седые композиторы и дирижёры; гримёры и рабочие сцены скользят, как тени, между артистами. Волшебная жизнь! Кажется, это была генеральная репетиция «Тахира и Зухры», одной из постановок 25 узбекских национальных опер и балетов.

### **«В МОСКВУ, В МОСКВУ, В МОСКВУ»**

После учёбы в интернате я с одноклассником Серёжей Макариком поехал в Москву. Цель была очень самонадеянная: если далее учиться, то в Москве. Нам бы поступить в Ташкентский театрально-художественный институт, где было 100% шансов на поступление: все педагоги, преподававшие в институте, преподавали и нам в интернате и говорили, наверное, пробуждая в нас кураж, что подготовка у нас лучше, чем в училище Бенькова.

Ехали поездом долго, весело пили и пели. Пошли сначала в Высшее художественно-техническое училище им. Строганова, в просторечье «Строгановка». Множество абитуриентов сновали по коридорам. На втором этаже нашли приёмную комиссию и показали свои работы. Мои работы понравились, в них увидели «пространственное мышление» и велели сдавать документы. Работы Сергея почему-то не одобрили. Из солидарности с Сергеем я не стал сдавать экзамены. Поехали в институт им. Сурикова, но там уже прошли вступительные экзамены. Поэтому мы сдали документы в полиграфический институт и жили в его общежитии, в Люберцах, в лесу. Ездили на электричке сдавать экзамены и говорили, мечтали о революции, о будущем искусстве, чем-то напоминающем план монументальной пропаганды, поскольку искусство и революция для нас слились в одно понятие. Конечно, ходили в Третьяковскую галерею и в Пушкинский музей. Лето было очень жаркое и дымное, под Москвой горели торфяные болота. Сергей экзамены прошёл, но не остался учиться, т.к. я провалил экзамен по шрифту. За это мы расплатились годами службы в армии - Макарик во внутренних войсках провёл два года, охраняя заключённых в Казахстане. А я - три года на.

Отчим слал мне в Москву подробные письма-инструкции - как экономить деньги, покупая на 10-20 копеек пирожки, хлеб и т.д. Описывал свой опыт аспирантской жизни в Москве и думал, что я из этого извлеку практический урок. Но мы в Люберцах несколько раз сходили вечером на танцы, куда приходили местные девушки. На знакомство с ними и продолжение знакомства ушли последние 30 рублей, предназначенные на обратную дорогу. Привезла в Ташкент добродушная проводница, с ней мы рассчитались по приезде. Ехали трое суток. В пути кормили сердобольные земляки-узбеки. Из Ташкента вернулся в Нукус.

О первом и последнем опыте заработка «халтурой». Вернувшись в Нукус, я стал думать, где бы мне заработать денег, помочь матери. Много художников тогда зарабатывали невольной «халтурой», чтобы иметь возможность заниматься свободным творчеством. Художник Мадгазин ездил на мотоцикле писать этюды и пейзажи, которым место было в музеях, но продавал их в больницы, гостиницы, конторы колхозов, даже в бани - где платили больше и надёжнее.

Одно время я ходил в мастерские Художественного фонда, которые находились за «108-м поворотом». Почему так называлось? Может быть потому, что там было 108-е стройуправление, или это была окраина, где жили «сто восьмые»<sup>30</sup> (бомжи), а скорее всего и то, и другое. Художники иногда давали мне грунтовать, подкрасить какие-то холсты, но существенно делиться «халтурой» не хотели.

---

30 До 1983 года статья Уголовного кодекса СССР, которая преследовала бродяг, туенядцев, попрошак и т.п.

Ушёл я оттуда и поработал с двумя ленинградскими художниками, которые оформляли новый аэропорт. Они платили по-честному. Работали интересно, грунт делали не белый, а чёрный и по нему работали светлыми красками. Несколько живописных работ этих художников купил Савицкий. Один из художников был взрослый и женатый, а второй молод и холост. Как-то они разбились на мотоцикле возле гостиницы «Нукус» о грузовую машину. У старшего были раздроблены кости бедра, у младшего оторвало «только» пятку. «Повезло». Я навещал их в больнице. Старший попросил принести ему что-нибудь из Чехова. Жаловался на свою жену: она была гораздо моложе его, жила за его крепкой спиной, а когда случилось это несчастье она «растерялась» и потому не приехала к нему из Ленинграда. (Так он оправдывал её). Когда ему стало лучше, я отправил его в Ленинград, с трудом вкатив коляску с ним на борт самолёта.

После работы в аэропорту я пытался найти заработок в рекламном бюро горисполкома, которое занималось художественным оформлением города. Ходил туда целый месяц, брал с собой хлеб и кусок сухого сыра, кое-какие книги – почитать в обеденный перерыв. Самостоятельной работы не давали и я доделывал не законченные кем-то плакаты. Перед ноябрьскими праздниками пришёл молодой человек из КГБ и предложил написать к празднику октябрьской революции лозунги для фасада КГБ. Никто не взялся, и потому взялся я. Всю ночь в здании КГБ я писал революционные лозунги «Жасасын уллы Октябрь!» и «Да здравствует великий Октябрь!». Потом я понял, почему другие не соглашались для работать для КГБ: оплату пришлось выпрашивать около двух месяцев, но я добился оплаты и мне дали «целых» 20 рублей. Коллеги по работе удивились, т. к. оплату в КГБ до меня никто не мог выпросить.

Савицкий предлагал мне работу в Музее, но там была очень маленькая зарплата. Я считал, что должен помочь матери, она с отчимом продала дом, чтобы мы с братом получили профессию в интернате. Да и Мадгазин соблазнял: «Если ты пойдёшь к Савицкому, бессребренику, то будешь без денег, иди ко мне, я научу тебя быстро работать и ты будешь хорошо получать, а искусство от тебя не уйдёт».

Военкомат не дал сделать выбор. Меня призвали на службу в армии.

### **СЛУЖБА НА СЕВЕРНОМ ФЛОТЕ**

Мне хотелось посмотреть мир и, может быть, даже Кубу, родину моего кумира Че Гевары. Сначала просился в морскую пехоту, но из Каракалпакии туда не брали. Я уговорил военкомат и меня всё же взяли на флот, т.к. мало кто хотел служить три года на флоте - вместо двух лет на суше. Приехал поездом в Ленинград, оттуда на пароме в Кронштадт, в военно-морской ордена Ленина госпиталь. Он размещался в огромном трёхэтажном екатерининском здании со стенами двухметровой толщины и высокими потолками. На втором этаже была наша учебная рота санитарных инструкторов.

При госпитале разводили свиней и кроликов для матросской кухни. Мы в кочегарках иногда опаливали свиные головы и лакомились свиными ушами. Довольно вкусно, как оказалось, почти как бараньи. На зиму солили капусту в старинной деревянной бочке в два человеческих роста. Несколько матросов рубили капусту, другие спускались по лестнице вниз, чтоб умять капусту резиновыми сапогами.

На взморье ходили на шлюпках, после чего гордились крепкими матросскими мозолями. Я мог бы служить легко, рисуя плакаты и лозунги, но скрыл, что умею это делать, - первые опыты пропагандистской «халтуры» вызвали стойкое отвращение к ней.

В другой части здания на третьем этаже были учебные классы, где из окна виднелся шпиль Петропавловской крепости. За полгода мы прошли весь курс медицинского училища. Нас готовили в помощники судового врача, чтобы в дальних

морских походах мы могли делать все, начиная с инъекций и кончая умением ассистировать хирургу при операциях.

После учебной роты меня направили в Североморск на большой противолодочный корабль «Дерзкий». С командиром корабля Бражником, большим любителем поэзии, переночевали в его квартире в Питере и утром отправились на корабль.



Тяжко быть «молодым» матросом. «Молодые» сутками чистили картошку или драили пайолы, металлические листы на полу в машинном отделении, где было нечем дышать от испарений солярки и раскалённого двигателя. Мы поочерёдно поднимались наверх к переборке, чтобы подышать воздухом. Однажды, выбрасывая очистки картофеля, я попытался удержать молодого матроса от того, чтобы он не выбросил вместе с очистками ящик... и сам упал в Северное море. Именно в этом месте на борту корабля не было лееров. Кто-то случайно увидел и догадался бросить пожарный рукав, в который я намертво вцепился. Меня вытащили, растёрли спиртом и даже дали глотнуть. Если бы промедлили ещё несколько минут, ледяная вода сделала бы своё дело. Бушлат, который я скинул, ушёл на дно. Позже я иногда смотрел на воду и пытался представить себя на дне моря в этом бушлате...

«Дерзкий» совершал переходы через проливы из Балтийского моря в Северное (Немецкое) море и вокруг Скандинавского полуострова. Помню заснеженные фьорды в Норвегии, ухоженные шведские дома, зелёные поля Германии. Шли во вполне мирных проливах, но почему-то звучала команда «Боевая тревога» и мы накрепко задраивали переборки и иллюминаторы.

Мне было в диковинку видеть после пустынь Каракалпакии штормовое море, волны которого в тяжёлом ритме падали за иллюминатором в огромную пропасть и вновь вздымались до низкого неба. Любовался в Баренцевом море цветущей тундрой в сизом дожде, тихими гаванями среди блаженных островов, покрытых весной невероятными расцветами трав и поражался Северному сиянию, ползущему с шуршанием и треском по небу.

А на суше морозы, ночные вахты, танцы в матросском клубе, проводы девушек и поцелуи между запорошённых снегом домов в засыпающем городе. По вечерам в кубрике читал Рокуэлла Кента, переписал все стихи величайшего Сесара Вальехо.

Я был так одинок там, что как кутёнок тыкался в поисках общения к художникам, к библиотекарям, к случайным знакомым. В поисках коллег-художников я как-то зашёл в художественный салон в Мурманске и спросил: «Нет ли здесь художников, чтобы познакомиться?» Одна из продавщиц, Наташа, сказала, что у неё муж художник, Ивахненко. Мы подружились и на праздники я ходил к ним в гости. А когда попал в госпиталь после неудачной попытки вскрыть вены, они навещали меня, приносили апельсины в сеточках. Я им оставил часть своих рисунков.

Когда я ездил из Североморска в Мурманск в медицинское управление флота, куда отвозил на анализы кровь, отчёты и пр., то обязательно заходил в прекрасную библиотеку, которая была огромном здании, и в отдел изобразительных искусств. Сходя по лестнице, я увидел девушку в жёлтых брюках и красной кофточке, заметил у неё на руках книги. Это были письма Гогена и стихи Шиллера (на немецком!) и Матисс (на французском!) Подошёл, представился, мы разговорились. На следующий день встретились в холле на 4-м этаже, она читала мне на французском языке стихи Аполлинера, Рембо, Валери. Её звали Марина Беркович. Она работала в Институте больших глубин переводчицей и знала немецкий, французский и норвежский языки! В те дни была декада Ленинградской культуры в Мурманске. Я пригласил её на лекцию знаменитого искусствоведа Юрия Халаминского. Познакомился с ним. В том же году он трагически погиб. А до того он написал замечательные книги по искусству Средней Азии и, в том числе, упоминая в одной из книг Савицкого, с которым он встречался в Нукусе.

Там же, в библиотеке я познакомился с Наташей Леде, «Ледышкой». В первый раз я ее увидел шестнадцатилетней девочкой, зимним вечером в вестибюле, около зеркала. Обратил внимание на поразительно тонкую талию и пышные бедра, когда она, выгнувшись плечами назад, надевала пальто. Я догнал её на улице и заговорил о чём-то. Шёл снег, было уже темно, снег хрустел под ногами.

Позднее мы признались друг другу в том, что эта наша случайная, в сущности, встреча, была счастливой и хорошо, что я заговорил с ней, а она ответила мне без предубеждений. Я полюбил её. Но она подарила мне только свою дружбу. У нас завязалась оживлённая переписка. Она писала мне на корабль, я же ей на улицу Челюскинцев.

Мы писали друг другу о книгах, о музыке, о мечтах, симпатиях и о своих настроениях. Ей очень не нравилось, когда я в письмах не ставил или же проставлял лишние запятые. Поэтому мне приходилось тщательно перечитывать свои письма и следить за грамматикой. Я писал ей огромное количество писем, оставил ей все свои рисунки цветными карандашами. В письмах делился с ней планами будущей жизни, полной путешествий и грандиозных приключений.

Поэзию планов разрушила проза жизни. Я уехал учиться в Ташкент. Когда оттуда я написал ей что женился, она перестала мне писать. Тогда я понял, что и она любила меня и ждала

После службы на Северном флоте я считал, что намного повзрослел, но, как оказалось, детская доверчивость меня не оставила. Возвращаясь из Мурманска в Ташкент, решил побывать в Ленинграде. Приехал в Питер, перекусил пирожками у стойки в кафе. Вышел и увидел лежащего паренька. Никто к нему не подходил, а я подошёл и поднял. Он попросил отвезти его домой. Посадил его в такси, и мы поехали по Невскому проспекту. Пока ехали, он предложил переночевать у него в квартире, пообещав, что мне «Будет очень хорошо!». Когда он остановил такси и выбежал за водкой водитель тихо сказал мне: «Парень, беги немедленно, это наркоман».

Я выскочил из такси и пошёл бродить в предрассветной мгле по Ленинграду. Прошёл мимо дома, где на втором этаже была последняя квартира Ф. Достоевского. Бродил по Невскому и другим проспектам. Днём побывал в Русском музее, в трёхэтажном Михайловском замке, где был задушен император Павел I и где учился в инженерном училище Достоевский. Вечером, едва волоча ноги, пришёл на Московский вокзал и сел на московский поезд. В поезде познакомился с русской девушкой. Почему-то она предложила переночевать у неё дома, где я познакомился с её родителями, искупался, отдохнул. Утром она проводила меня на вокзал.

Приехал из Ташкента в Нукус измученный и исхудавший. Мой прежний пиджак висел на мне, как на вешалке, когда я шёл в нем фотографироваться для получения паспорта. На следующий день пошёл к Савицкому, получил у него свои холсты, картины, которые оставлял на хранение. Жалко, что несколько чемоданов своих рисунков и неплохих акварелей сжёг перед службой, так как дома сказали, что я завалил квартиру своими работами. Надо было оставить графику у Савицкого на хранение, он бы сохранил. Он знал цену ранним работам художников.

## СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

В Ташкентский театрально-художественный институт я поступал с не большой охотой, да и Савицкий отговаривал, говорил, что институт меня только испортит. Но Арслан настоял: «Интернат ведь тебя не испортил!», – и привел в пример то, что когда-то наш отец не ослушался старшего брата Магжана.

Со мной вместе поступал и Сергей Макарик. Когда мы купили новые этюдники, то радовались как первоклассники первому портфелю. А я так готовился к учёбе, что купил даже! часы, чтобы не опаздывать на экзамены. До экзаменов поехал к Фаине Михайловне Перовой, моей любимой учительнице и покровительнице в интернате, попросил замолвить за меня слово при поступлении. Второй попытки поступления в институт я бы не стал делать. Она познакомила меня со своей подругой, керамистом, а та замолвила слово А.С. Кокоткину. Видимо, он меня запомнил, – я был в форме моряка. С таким напряжением сдавал экзамены, что ещё больше похудел. Меня приняли в институт, после чего я приехал к Фаине Михайловне поблагодарить её. Она пригласила меня назавтра в гости. Я позвал с собой Гришу Капцана, который тоже поступил в институт. Гриша сначала отказывался, но пошёл, и не зря. На ужине были великие художники Токмин и Перов!

Перов относился ко мне сдержанно, с усмешкой. Когда я восторгался Ван Гогом, он мне справедливо выговаривал, что нужно не подражать, а капитально учиться рисовать, что Ван Гог самоучка, но гений, а мой гений «пока» под сомнением и т.д.

У Перова был любимый ученик, Шухрат. Мы переписывались с ним, когда я служил на флоте. Он писал о своих проектах сюжетных композиций. Шухрат был другом Абдуллы Арипова, впоследствии народного поэта и автора гимна Узбекистана. К прискорбию, жизнь Шухрата оборвалась в 30 лет, в 1976-м – в год, когда я поступил в институт. А он только начал творчески работать после окончания художественного института. Как я слышал, он погиб под машиной, – что-то праздновал с друзьями в своей мастерской, побежал в магазин, гололёд, поскользнулся...

Прекрасный и очень тонкий художник Токмин жил в Доме художников на Ак-тепе. Однажды в новогоднюю ночь у него сгорела в квартире вся его живопись. Иногда на выставках я видел полуобгоревшие фрагменты его работ. Мы, студенты, услышав про пожар, поехали к нему на Ак-тепе. На верхнем этаже были почерневшие, обгорелые стены. Художник Талдыкин, мой учитель в интернате, сунул мне деньги и сказал, чтобы я

сбегал в магазин и купил две бутылки водки, как для поминок сгоревшей живописи Токмина.

Художники относились к студентам, как старшие братья к младшим. Помню, в ОДО была выставка «Венгерская пейзажная живопись», я был там с художниками Мельниковым и Рузы Чарьевым. Мы зашли в кафе, и они послали меня за водкой. Я принёс, они выпили и мне налили. Студент-художник, сытый, пьяный и гордый застольным знакомством с коллегами-корифеями, – что может быть прекраснее!



Деканом факультета в институте был знаменитый Лимаков, а заведующим кафедрой рисунка – прекрасный график Иван Иванович Енин.

Рисунок и живопись преподавал на первом курсе очень красивый, рыжебородый, мудро-философичный Юрий Чернышёв. Как-то с Чернышёвым мы завели разговор о Савонароле. Я уважал Савонаролу за искренность и фанатизм, считал неистовым борцом против роскоши и разврата. А Чернышёв сказал, что ничто не может служить оправданием Савонароле за четыре картины Боттичелли, сожжённые на костре инквизиции.

Как-то в студии мы писали натюрморт, очень старались, но Чернышёв расстроился: «Проклятые импрессионисты, они всем вскружили голову, да и вам тоже!». Позже, на третьем курсе, похвалил мою живопись, сказал: «Мощно!» – и одобрил рисунки – «Мощь!», «Убедительно!». И ещё сказал при всех: «Ты мой лучший студент в рисунке. Ты подкупил нас личностью и искренностью. Ты становишься мастером». И Кокоткин сказал, что моя живопись ему нравится. Я возгордился и начал писать спустя рукава, ушёл в студенческие пирушки с однокурсниками - Сергеем Ивановым, Петей Кравцовым, Майей, которые приехали из Душанбе и остались жить в Ташкенте. Брат Майи привёз из Душанбе редкость – катушечный магнитофон, и мы слушали рок, джаз, Высоцкого, записи которых можно было найти только на кассетных плёнках. После ухода гостей я начитывал на магнитофон отрывки из книги Шпенглера «Закат Европы» (книгу надо было вернуть.) В следующем семестре Чернышёв отрёкся от своих преждевременных оценок и ругал: «Это

рисунки не студента, а мелкого художника-самоучки». Я стоял бледный от недосыпания после пирушек и спешной работы над постановками, не зная, куда деть руки.

Историю искусств вела Эльмира Ахмедова. Впервые я увидел её в белом платье, в котором она была очень красива. Тайно влюбился и на лекциях рисовал её, за что она мне строго выговорила. Конечно, за рисование, – про свою тогдашнюю тайную влюблённость я проговорился почти 30 лет спустя. А тогда, в аудитории, она посмотрела рисунки, подобрела и даже дала книги по истории искусств, но и пожаловалась: «Эти лекции меня измучили». Как-то, увидев, что я не рисую её, она сказала: «Жаль, что вы меня теперь не рисуете». Я ответил: «Я бы рисовал, но боюсь вас разгневать». Она: «А я с утра пятницы настраиваюсь на то, что вы будете меня рисовать». В те годы я написал по тем рисункам три её портрета, из них один – с её сестрой Нигорой.

Мой учитель Александр Сергеевич Кокоткин был глубоко и вселюбяще добр. А я до сих пор страдаю от одного нелепого и безобразного своего поступка, когда попытался ухаживать за его женщиной. Несмотря на это, Кокоткин остался мне и учителем, и другом. Он вёл специальность «Интерьер и оборудование» и дал нам основательное авангардистское образование, научил элементам формообразования, основам цветоведения, пространственного и пластического мышления в русле традиций раннего ВХУТЕМАСа, немецкого Баухауза, Югенд-стиля, Ле Корбюзье.

У Кокоткина была огромная уральская борода чуть ли не до пояса, седые волосы, очки. Он был такой высокий, вальяжный, что я иногда думал, что окружающие должны обращаться к нему «Ваше Высокоблагородие!». Его предки были русскими инженерами и важными купцами, которые приехали в Ташкент ещё до революции. Жил Кокоткин со своей престарелой матерью в небольшом доме около старого ТашМИ. Соседи его звали «Саша-архитектор», потому что он построил во дворе из пахсы<sup>31</sup> необычной овальной формы мастерскую для чеканки, чтобы не беспокоить матушку шумом во время работы. В углу была печка вроде камина, стол, пластинки, книги. Мы, студенты, часто приходили к нему и целые вечера, а то и ночи проводили за бутылкой вина. Был у него огород, который мы иногда пропалывали, выращивая овощи, в том числе и для закуски. Во дворе бегала и мешала нам работать в огороде огромная собака Лада. Иногда Кокоткин вывозил нас на этюды в горы, где мы писали сверху прекрасную Ташкентскую долину в дымке. Я так много там писал, что Александр Сергеевич говорил: «Ты пишешь как будто двумя руками».

Кокоткин рекомендовал меня в студенческое научное общество, где мы как-то с Гришей Капцаном представили прекрасную, как мы были уверены, лекцию по цветоведению. Гриша жил недалеко от гостиницы «Россия», снимал комнату с небольшим двориком. Вся стенка в прихожей у него была завешана яркими пустыми консервными банками, а комната заполнена картинами, рисунками, стихами и пластинками. Одну из них он мне дал послушать - это были потрясающие песни Раби Шлама Карлебаха. Последние три месяца в институте мы с Гришей спешно, сутками делали дипломные работы, которые преподаватели оценили невысоко. Наша богемная жизнь не привела ни к чему хорошему. Сейчас Гриша в Израиле и стал известным художником и поэтом.

Я не мог и не хотел жить в общежитии института во время учёбы. Одно время меня приютил на Бешагаче Дима Жёлудев. В комнате Димы я делал свои проекты, задания по композиции и рисунку. И много рисовал его. Запомнился рисунок – он стоит у дверей и смотрит в дождь... Прекрасный человек и художник.

---

<sup>31</sup> Строительная глина

Бешагач был тогда знаменит. Это сейчас он пустынный, а тогда там ходил трамвай, множество народа гуляло в парке и купалось в Комсомольском озере. Базар Бешагача кипел, народ толпился вокруг бочек с пивом, ревели ослы в арбах, сновали арбакеши. А мы садились на асфальт у входа на базар и делали зарисовки. За озером была древняя махалля, и народ жил очень простой. Но жили там и русские дворянки, с одной из которых я подружился. В этой махалле была старинная баню, куда я еженедельно ходил купаться и постирать одежду. (Но как в этой грязной бане воняло мочой!)

Снять для меня жильё помог одноклассник Рамиль – в доме Надежды Ивановны Василины, на ул. Бешагач, дом 13. Она была учительница на пенсии, очень добрая и простодушная женщина, жила со своим сыном, Колей, гидрогеологом, большим любителем книг. Я написал несколько его портретов, один из которых купил Савицкий.

Учился с нами в институте Саидхасанов Ибрагим, которого все звали Мусик, по имени персонажа какого-то индийского фильма. Он стал одним из ближайших моих друзей в годы учёбы в институте. Мусик с подругой, Майей, жил некоторое время у меня. Из института его направили учиться в Москву, но через полгода он вернулся. Кокоткин полшутя поставил ему условие: «Женишься на Майе, тогда помогу тебе восстановиться». И свою студентку замуж выдал, и ученика восстановил в институте. (Кстати, работы Мусика очень понравились Савицкому.)

Вместе с одноклассниками и однокурсниками приходила ко мне на Бешагач Люда, одноклассница. Мы с ней ходили в кино, гуляли в парке. Как-то ко мне пришли два её брата и сурово молвили: «Женись». Я и сам был не против, но у меня были вовсе не семейные планы. Мне казалось, что жизнь продлится недолго, я жил в ожидании ядерной катастрофы и готовился к партизанской войне по книге Че, ходил по несколько часов с отцовским военным планшетом и с рюкзаком, набитым книгами, по окрестным холмам. Как-то пешком дошёл до 22-го квартала Чиланзара и обратно на Бешагач. Я подражал Че Геваре даже в одежде, ходил в куртке и бриджах с большими карманами, в беретке со звёздочкой. А свою матросскую форму подарил Рамилю, его отец был моряком на Дальнем Востоке, и, кроме того потому, что кумиром Рамиля был Гоген, который был когда-то моряком.

Учился я без особого старания из-за «богемной» жизни, а потому со второго курса не получал стипендию. Но мать, брат или Савицкий ежемесячно присылали по 50, а то и по 100 рублей. На эти деньги жил или кутил в праздники или после просмотров/экзаменов, когда около 20 человек студентов и преподавателей собирались в моей комнате, дискутировали, танцевали, пили вино. Хозяйка дома была из Сибири и поучала нас: «Как мужики в Сибири, вы пить не умеете, они пили в два-три раза больше вас, но и ели в пять раз больше, а потому не становились алкашами. А вы все станете алкашами, если будете пить и не закусывать!». А где же было взять закуску студенту? Только у безотказной хозяйки!

В институте преподавал полгода философ, который довольно сильно пил. Впрочем, это было тогда вполне обычно для всех настоящих философов в СССР. Когда он узнал, что я знаю экзистенциалистов и их учения, которых упоминали тогда только как «мелкобуржуазных» философов, он не стал у меня принимать экзамен и просто поставил зачёт. Лекции по философии он читал изумительно. Несколько суток я провёл с ним в философских дискуссиях за огромной 20-литровой бутылкой домашнего вина. По ночам, проснувшись, мы продолжали дискуссию о бытии, выпивали и опять впадали в небытие...

Я очень уставал от этой бессмысленной учёбы и обязательности псевдо богемной жизни, впадал в отчаяние и срывался на месяц-полтора в Нукус, где жил не у родителей, а у Савицкого. Ритм жизни и работы рядом с ним, его спокойствие возвращали мне



уверенность в себе, после чего я возвращался к учёбе. Так случилось и когда я забросил на год учёбу в институте и уехал в Нукус к Савицкому. Мусик тогда был у Кокоткина и тот спросил обо мне: «Величайший» ещё не приехал? Увидите – он ещё вернётся в институт». Провидец! Так и случилось через год после ухода из института.

Савицкий в мои студенческие годы приезжал в Ташкент за картинами, которые оставлял мне на хранение. Помню, например, у меня на Бешагаче хранилось много картин художницы Кашиной. Он приезжал ко мне и на ул. Карборундовую, где познакомился с моей женой и тещей. Тогда он сказал, что я совершил «мезальянс». Я подумал, что как «бедный студент-приживальщик», а теперь понимаю, что он предвидел трения с родственниками жены из-за моих занятий искусством, а вернее и, конечно, из-за «богемной» жизни.

Когда мы увязывали картины Кашиной, Савицкий в первый раз предложил мне заменить его в будущем на посту директора Музея. Начал, как всегда: «Когда-нибудь я подохну...». Но когда после института я поработал в Музее, он говорил уже другое - «Ты не готов управлять коллективом, потому что будешь тиранить людей, внесёшь раздор, конфликты и сотрудники от тебя уйдут».

Несмотря на «богемную» жизнь, в студенческие годы я всё же много писал. В один из приездов в Ташкент, Савицкий вечером смотрел мои работы, но был очень недоволен ими. Упрекнул меня в небрежном отношении к подготовке холстов для сохранности работ. Потом нашёл мои прошлогодние работы и сказал, что они интересны. Привёл в пример мне работы Рождественского, Шевченко, Фалька. За вином помечтали о польности Парижа для художника. «Но только для уже сложившегося мастера», – подчеркнул он. В конце «лекции» отобрал мои работы для выставки в Музее и решил, что кое-что приобретёт. В трамвае по дороге на вокзал говорил о том, что есть возможность приобрести Сурбарана (всего за 6,5 тыс. рублей!!), и сказал: «Это здорово, если удастся». Говорил о том, что большие трудности стоят перед Музеем: 0,5 млн. рублей долгов; о необходимости строительства нового здания; о том, как нужны Музею преданные труженики, а не случайные люди. Указал на мою разбросанность и привёл в пример самовоспитание Ван Гога. А во время прощания на перроне вокзала поучал - «Вот посмотри вокруг. Ты видишь, какой колорит, как он разнообразен и как изменчив? А ты пишешь не реальный пейзаж, а пейзаж таким, как ты чувствуешь его, как видишь. Поэтому пейзажи однообразны – потому что ограничены рамками твоих впечатлений. Писать надо пейзаж, а не себя в нём». Или: «Эдик, смотришь если не в зеркало, то хотя бы в консервную банку, чтобы увидеть себя и свои работы со стороны».

Оканчивая учёбу в институте, я сам выбрал тему для дипломной работы. Намечалось строительство в Нукусе нового музея, и я начал проект оформления его интерьера и экстерьера. Савицкий посоветовал обратиться к главному архитектору проекта Алевтине Козловой и дал мне записку для неё. Алевтина помогла скопировать проекты-планы нового музея. Я их наклеил на картонные листы и с этими планами начал работать над эскизами монументальных росписей. Но завершить работу не получилось из-за семейных проблем. Так и остался проект в эскизах.

Пришлось взять другую тему диплома – монументальная роспись театра «Ильхом». После защиты диплома захватил свои картоны, эскизы и поехал домой, на Бешагач. По дороге выпил немного и лёг спать после бессонных ночей. Однокурсники пошли в лагманную, немножко посидели и разошлись, особого праздника не получилось. Начало в институте было романтическое, вдохновенное, а конец...

Пора в Нукус, к Савицкому. Прощай, Ташкент, мой любимый «Париж Востока».

## ЖИЗНЬ МУЗЕЯ И ЕЁ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ «ЭКСПОНАТЫ»

Надеюсь, что кто-нибудь ещё напишет, оставит заслуженную память о людях, которые отдали годы своей жизни Музею. Для начала начну сам.

В 1968 году, мне было 14 лет, я приехал из интерната домой на каникулы и узнал, что в Нукусе появился Музей искусств. Музей был в здании старого краеведческого музея. Я приходил в Музей и целые дни бродил в нем. Тогда в музее висели круглые, матерчатые абажуры, которые придавали музею домашний уют. Маленький, сгорбленный, худенький человек, пробегая мимо меня из комнаты в комнату, посмотрел на меня внимательно и спросил тоненьким фальцетом: «Хочешь у меня работать?». Я сказал: «Да, хочу». Тогда он сказал: «Спроси у мамы, разрешит ли она тебе работать у меня, и приходи».

С тех пор во время каникул в интернате я пропадал в Музее, где начал работу со склеивания керамики. Тогда уже Савицкий начал собирать в археологических раскопках керамику с городищ Древнего Хорезма. Огромное было количество керамики!

Савицкий брал меня на раскопки, куда нередко выезжал с археологом Юрием Маныловым. (В семидесятые годы Манылов работал в Музее заведующим отделом археологии, впоследствии переехал в Туркмению.) Полный набор черепков для сбора целого сосуда или оссуария редко попадался. Если собиралась хотя бы их половина – остальное дополнял гипсом Жолдасбек Куттымуратов, скульптор, реставратор керамики, друг Савицкого.

Так получилось, что в Музее я каждодневно соприкасался с предметами, в которых сосредоточена вечность и которые, волей или неволей, вынуждали оценивать все с точки зрения вечности.

Днём я клеил керамику, расставлял тазы с водой для увлажнения воздуха в залах, где мы с Савицким часто меняли экспозиции, пробуя и так и сяк развешивать картины. Из-за недостатка места он остановился на шпалерной развеске, при которой картины висели близко друг к другу по авторству или периоду истории. Савицкий сказал: «Дома у Ульяновых картины висели на стене в 4 ряда, и я тоже повесил так же!» – и засмеялся, радуясь совпадению.

А ночью я топил печи Музея. Во дворе стояла хибарка, в которую привозили уголь, и я особенно запомнил зиму 72–73 годов, которую провёл за каторжным трудом – топил 12 печей Музея. Однажды Ж. Куттымуратов, проходя мимо, увидел меня, измазанного углём, сгибающегося под тяжестью вёдер, и пошутил: «Бодрись! Ван Гог тоже начинал с угольных шахт Боринажа». Сравнение польстило, но сил не прибавило.

Здание Музея было очень старым, надо было постоянно дежурить в нем, т. к. не было надёжной охраны, угрожали риски подтопления из-под крыши, а впоследствии и из батарей центрального отопления, когда их поставили. Однажды замёрзли трубы, которые шли в Музей от котельной гостиницы «Нукус» под открытым небом. Там остановили котельную, но не предупредили. И чтобы не полопались батареи, мы всю ночь с Дамиром бегали с паяльной лампой и разогревали эти трубы и батареи. Страшно подумать – что было бы, если бы их прорвало и кипяток залил бы Музей и картины?

В музее я начал учиться реставрации живописи у Алексея Квона и у приезжих реставраторов. Профессиональные реставраторы из Москвы работали в комнатке на втором этаже Музея. Там я подружился бороатым реставратором - Анатолием Макаровым. Несмотря на невысокий рост и обычное телосложение, он поднимал на вытянутой руке полное ведро воды над головой. Для меня, подростка, он был потрясающе

могуч. Но надо было видеть, как нежно он накладывал папиросную бумагу с рыбьим клеем на потрескавшуюся краску масляных холстов, как ласково проглаживал утюжками эти места и потом смывал тёплой водой папиросную бумагу, как тщательно грунтовал холст и тонировал красками места, где был утрачен красочный слой.

В Музее работали искусствоведы из России и даже из Сибири. Среди них была Таня (я помню только её имя.) Однажды она почему-то задумалась и вдруг заплакала. Когда я спросил удивлённо: «О чём Вы плачете?», – она ответила: «Я плачу о тебе. Тебе предстоит очень тяжёлая жизнь». Что-то она увидела в своих прозрениях.

Среди искусствоведов была и Валя Панжинская, одна из авторов книги о музее. Работали в Музее искусствоведы Наташа Моисеева из Ленинграда и Лена Худоногова из Красноярска. Лена приехала с мужем, художником Валентином Тепловым. Познакомился я с ними во дворе Музея в сумраке вечера, когда Лена беседовала с Савицким. Она была дочерью сибирского художника, заочно училась в Академии художеств и писала диплом по портретам художника Ульянова, которые были в нашем Музее. Её отец погиб, покончив с собой. Смерть отца была для Лены огромным потрясением. Теперь, издали, я вижу, что она была глубоко страдающим, болезненно надломленным человеком, но сумела выстоять и создать вокруг себя свой мир. Она была интеллигентно скромна, но вела мелодию соло в нашей «богемной» компании, где я играл роль её пажа с осени 1973-го по весну 1973 года, когда Елена захватила меня в «плен сознания» своей могучей, властной, несколько истеричной и предельно эмоциональной личностью. Как-то она сказала мне почему-то, что я достиг такой душевной высоты, какой не достигну никогда больше. Потом ничего не будет, будет только падение вниз и вниз.

Лена уехала сдавать сессию в Ленинград, и с тех пор я её не видел. Я ей подарил на прощание трёхтомник Гофмана, тогда это была большая редкость. И, кажется, обидел её, попросив прислать обратно. Как оказалось, трёхтомник был не мой.

Валентин Теплов работал и в Художественном фонде, и в театре с замечательной художницей Альвиной Шпаде. Он получил крепкую профессиональную подготовку живописца в Красноярском художественном училище. В его квартире на стене висел этюд маслом на картоне – казахские степи в жёлтом охристом колорите. В Художественном фонде, в бухгалтерии, я видел огромные Валины восточные натюрморты, с сахаром, чайником, лепёшками. Однажды зимой Теплов написал мой портрет – в телогрейке лысого мусульманина, читающего Евангелие! Я тоже писал Валу, но в духе Модильяни.

Мы с ним ходили в небольшой аул на окраине микрорайона, где начинались бескрайние Кызылкумы, – писать этюды с «аборигенами Таити», как Лена с Валею шуточно называли аул и его обитателей.

В 80-е годы «наши девочки» (так Савицкий называл сотрудниц Музея) были в Москве на выставке и встретили там Валу Теплова. Он возмужал и выглядел как настоящий бородатый сибиряк.

Наташа Моисеева была красива - русское лицо с голубыми глазами и короткая стрижка. Она была отчаянной смелости в увлечениях. В юности Наташа странствовала по всему Союзу, забиралась «зайцем» к лётчикам в кабину, летала с ними в далёкие уголки Сибири. Наташа увлеклась в Нукусе резьбой по дереву и ездила учиться в Кунград к резчику по дереву, к Володе (Аману) Атабаеву. Он ей подарил для резьбы ступу, в которой сбивали масло. Это был щедрый подарок, т. к. такие ступы уже тогда были редки!

Наташа заканчивала заочно учёбу в Ленинградской Академии художеств и диплом писала по творчеству Эрнста Барлаха (почему-то в Нукусе?!). Она хорошо знала немецкий язык и советовала учить язык так – взять текст «Фауста» Гёте на немецком и читать, сравнивая с русским переводом.

Наташа часто болела, и мы, Теплов, Лена и я, навещали её. Я её такой как-то и написал – она лежит на диване, а вокруг – книги по искусству. Как-то в глубокой грусти она сказала: «Мы с тобой, Эдик, родственные души, болезненно переносим все, наши самые близкие люди будут предавать нас и делать нам больно»

Алексей Квон был влюблён в Наташу. А она хотела ребёнка от Игоря Витальевича и сказала ему об этом. Тот растерялся, метался между сотрудниками музея в поисках совета или утешения. Что-то не сложилось. По этой или другой причине Наташа уехала из Нукуса.

Спустя годы, возвращаясь со службы на флоте, я в Ленинграде зашёл в Академию художеств и разыскал адрес Наташи. Но её соседи по квартире на Фонтанке сказали, что она ушла в один из Новгородских монастырей. Я уехал, оставив ей письмо, на которое, впрочем, не получил ответа.

Наташа Моисеева и Лена Худоногова во многом повлияли на меня в моих юношеских духовных исканиях. С тех пор я сравниваю своё окружение с ними, и, не находя подобия, грущу по ним. Как я благодарен судьбе, сведшей меня с этими русскими женщинами, достойными пера Тургенева и Достоевского...

После 5 лет учёбы в институте я приехал в Нукус с приподнятым настроением и смотрел на мир сквозь розовые очки, веря, что верность, честность, труд принесут славу, почести, благосостояние в творчестве художника. Я не собирался продолжать работу в Музей, если бы не притягательность личности Савицкого.

В тот год Игорю Витальевичу было около пятидесяти лет. Он был очень энергичен и пропадал в Музее с раннего утра и до позднего вечера. Часто ночевал в музее на раскладушке в темной задней комнатке, где в ящиках на пристенных полках хранились археологические находки. В этой комнатке, когда Савицкий простужался, он укрывался полиэтиленовой плёнкой поверх одеяла или даже вместо него, наверное, чтобы прогреться, пропотеть. Он мог бы спать и в канцелярии, но в ней было место только для стола и стула.

В Музее меня, после института, встретили уже не как «школьника» или «студента», а как «профессионала». В коллективе были, в основном, женщины, и мне с ними было сложно работать из-за их межгрупповых интриг. Савицкий, успокаивая меня после ссор с ними, говорил: «Когда женщина имеет свою голову, с ней лучше не иметь дела» и «Держись от них подальше». Но у меня не получалось держаться подальше, и я портил отношения с женщинами по поводу и без повода. Как я сейчас понимаю, мы рвали души друг другу понапрасну.

После приезда в Нукус я сразу же отправился в срочную командировку в Казань – Савицкого попросили устроить там большую выставку картин из Музея в дни культуры Каракалпакии в Татарстане. Игорь Витальевич назвал ту декаду «Пир в Казани во время чумы в Нукусе<sup>32</sup>»: у Музея тогда уже начались серьёзные финансовые трудности, а в прессе поднялся шум по поводу экологической катастрофы в Приаралье.

Прилетел я в Казань с молодым художником, окончившим Алма-Атинское художественное училище. Мы вывезли картины и экспонаты выставки, которые заняли целый товарный вагон, в котором плелись до Нукуса в этом вагоне от станции к станции целый месяц. Я спал у входа в вагон, стерёг экспонаты. А напарник спал в глубине, все боялся, что из-за этих экспонатов, которые стоили уже тогда огромные деньги, зарежут первым того, кто спит у входа. На каждой станции приходилось бегать давать «на

---

<sup>32</sup> Реминесценция названия трагедии «Пир во время чумы» поэта А. С. Пушкина

бутылку» железнодорожникам, чтобы наш вагон быстрее прицепили к попутному товарняку. Много керамики побилось, хотя мы просили спускать вагон с горки осторожно. Наверное, одной бутылки было мало. Я очень расстраивался из-за этого и жалел, что не отказался от поездки, это была не моя обязанность, но отказать Савицкому было невозможно. Когда мы приехали в Нукус, оба были чёрные от поездной копоти и дорожной пыли. Поездку скрасили только казанские художники, которые чествовали нас в пивном ресторане, проводили до вагона и дали на обратный путь продукты. А сухари в дорогу насушили с доброй и прекрасной девушкой, в её квартире. И, конечно, дорогу скрасили пейзажи, холмы и степи России.

В том же году я поехал в командировку в Москву, куда меня вызвал Савицкий – помочь в сборе картин у московских художников или их наследников. Застал я его в Доме художников, его называют ещё «домом Фаворского»<sup>33</sup>, – где жила вдова художника Кибардина. И тогда в первый раз поссорился с Игорем Витальевичем: заявил ему, что у меня семья и мне нужна квартира, что он дерёт с меня три шкуры и если не обеспечит квартирой и заработком, я в Нукусе не останусь. Тогда временами меня охватывала слепая ярость и гнев на себя. Так опостылело тащить мелкие хозяйственные дела и обязанности экспедитора Музея, вместо того, чтобы заняться живописью! Но Савицкий воспринимал это как измену Музею, – и всякий раз я смирял свою ярость перед величием его дела и до очередной вспышки. В Нукус вернулись самолётом, помирившись...

Когда я только начал работать в Музее, там работал реставратором живописи Алексей Квон («Кун», «Конфуций» – так я его называл.) Это Квон отреставрировал «Караван» Волкова и множество работ других художников.

Квон родился в 1932 году на Дальнем Востоке и в трёхлетнем возрасте попал в Каракалпакию вместе со своим депортированным народом.

У Квона была чистая душа ребёнка, таким он и остался до своей кончины. Савицкий, говорил, что Алексей был не от мира сего и что художник Квон – «белая ворона» среди рациональных корейцев Нукуса.

Когда Алексей после развода запил, Игорь Витальевич напоминал нам, что Квона надо спасать от запоев и сам «спасал» его, запирая в Музее. Там-то Квон и написал «Расстрел комсомольцев», свою фундаментальную сюжетную картину. И заслуженно гордился ею. Репродукция этой работы вошла в первую книгу-каталог о Музее.

Помню случай, когда мы с Савицким сначала вели, потом несли, а потом уже я один нёс домой невменяемого пьяного Квона. Я взвалил его на плечи, голова его свесилась за мою спину, а Савицкий семенял сзади, придерживая его голову, и объяснял Алексею, почему нельзя пить. Это было и грустное, и довольно комичное зрелище. Всё же, сделав потрясающее усилие, Квон бросил пить. Это единственный известный мне случай, когда человек перестал пить сразу и окончательно. За исключением одного периода, когда у него начали отказываться лёгкие (он очень много курил) и его матушка, Мария, приносила иногда водку, которая помогала ему дышать. Может быть, поэтому он прожил ещё некоторое время.

После ухода из Музея Алексей прожил годы затворником в своей маленькой пристройке-мастерской с самодельными мольбертом, диваном, стульями. На стуле у окна примостилась полка с книгами по искусству. (Там же была и история искусства Японии, которую ему подарили Виктор и Валя Панжинские.) В этой пристройке Квон, уходя в мысли, занимал руки распутыванием клубков ниток, упражняясь в терпении и

---

<sup>33</sup> Так называли Дом Художников, который строился, как пишет Эркин в дневниках, по инициативе Фаворского и его друга художника-анималиста Ефимова.

сосредоточении, которые помогали ему собирать картины из рыбьей чешуи, а из рыбьих костей – абстрактные композиции

Писал он и обычные этюды на берегу канала Кыз-Кеткен – пейзажи, мальчишек. А когда Квон ездил в аулы на этюды, то написал в один присест изумительный портрет старика-каракалпака с очень лукавым выражением лица. Руки не дописал и поэтому картину срезал по пояс старика. Писал и маленькие натюрморты, буквально с ладонь. Очень много рисовал. Как-то он мне сказал: «В рисунке – я тебе открываю тайну, которую никому не говорил, – важно не то, что нарисовано, а то, что не дорисовано, но должно быть увидено тем, кто смотрит». В его рисунках это есть – намеренные пустоты. Он увидел такие пустоты у Рембрандта, который оставлял их как бы для сотворчества смотрящего. И эта недосказанность и есть одна из тайн мастерства в искусстве.

У Алексея был друг – скульптор Жолдасбек Куттымуратов. Как-то он привёл, чтобы помочь Алексею продать свои работы, каких-то иностранцев, кажется, из Бельгии. Те купили у Квона очень много рисунков и, как говорят, работу самого Савицкого, которую тот когда-то подарил Квону. И всё это – 200 долларов! ? Узнав об этом, я напился и написал отчаянные письма Маринике и в правительство о том, чтобы выкупили в Музей оставшиеся работы Квона, которого так ценил Савицкий, но так эти письма и не отправил.

А Квон на эти 200 долларов купил телевизор, взамен старого. Очень любил смотреть фильмы. Забывался в них. Одно время, до покупки этого телевизора, он несколько лет ежедневно ходил в кинотеатр на один и тот же сеанс. К нему так привыкли, что когда он однажды запоздал, кассирша, киномеханик и зрители выскочили на дорогу, выглядывая его. И начали киносеанс только после того, как он вошёл в зал...

Я приходил к Квону пообщаться, душевно поддержать друг друга. Во время встреч мы говорили о Савицком, обсуждали фильмы, новости, художников, книги, об его училище.

Квон рассказывал о преподавателе училища, легендарном Айзеке Ароновиче Гольдрее, потерявшем в годы блокады Ленинграда жену и двух детей. Гольдрей преподавал в училище Бенькова, сам готовил и приносил для студентов банки охристо-жёлтой краски. Квон вспоминал его засаленные широченные брюки; матрац, которым он укрывался вместо одеяла на земляном полу в снятой комнате; его влюблённость в юную, пышную, рыжую студентку; его перлы-фразы, все из которых заканчивались словами «...это не всё»: «Беньков – это не всё!», «Вы что думаете, что искусство это турник, – это не всё!» и т.п.

Квон рассказывал и про юного Бурмакина, который тоже учился в училище им. Бенькова. Алексей с улыбкой вспоминал и юного студента Бурмакина, тоненького, беленького, который складывал губки в трубочку, когда пел популярную тогда песню: «Край велик Пенджаб, Ты жесток, раджа, Ту, кого так любил, Для тебя, раджа, убил».

Вспоминал Квон и Якушева, парторга училища, который осенью 1952 г. вещал студентам о евреях как о «семитах-«космополитах», «империалистических наймитов!..» и т.д. Студенты слушали этот бред, раскрыв рты, и с ужасом гадали – что же теперь будет с евреем Гольдреем?

После воспоминаний разного рода Квон всякий раз он меня поругивал: «Если взялся за искусство, то делай дело и перестань болтать». Или: «Ты ворчишь, как старик, который никогда не был молодым». Наверное, я и был наивный и глупый «старик».

Матушка Квона угощала меня корейскими вкусностями и очень хорошо ко мне относилась. Наверное, потому, что я был одним из тех немногих, которые навещали

Алексея. Когда были закупки в Музее - я носил туда рисунки Алексея, а когда он достиг пенсионного возраста - собирал для него документы для оформления пенсии (как оказалось, мизерной).

Давнюю, заслуженную смотрительницу залов Музея звали Елена Андреевна. Она с сыном Витей снимала рядом с Музеем в старом двухэтажном доме комнатку. Витя много лет работал рабочим в археологических экспедициях. Когда приезжала археолог Елена Неразик, то всегда просила Савицкого прислать ей в помощники именно Витю. Он очень бережно копал, чувствуя стены построек и не разрушая их. Спал Витя за занавеской на кухоньке, где мы с ним не раз выпивали, как и на раскопках после трудного дня.

Поколение смотрительниц залов сменилось с тех пор не раз. В залах экспозиции работала долгие годы старательная смотрительница Люда, правда, несколько нервная и многословная. Как-то странно она погибла. В 90-е годы мне говорили, что её нашли убитой около канала Кыз-Кеткен (в переводе – «девочка пропала».) Странный и зловещий этот канал. Говорят, там же, якобы, покончила счёты с жизнью дочь С.П. Толстова, основателя Хорезмской экспедиции.

Простой смотрительницей зала музея была Айгуль. Начала она работать в отделе прикладного искусства, а когда отучилась в институте, стала заведующей этим отделом и известным искусствоведом - я видел как-то, как она давала интервью по ТВ.

До неё этим отделом долгое время заведовала Гала Маджитова. После смерти Савицкого, в конце 80-х годов, она заболела, вышла на инвалидность и уволилась. Но изредка приходила в Музей. Как-то мы с сотрудниками были у неё в гостях в коттедже в 24-м микрорайоне. Тогда я подарил ей свою большую темперную работу, изображающую Каратау (из Джампыкской серии), а Свете Сониной подарил картину с изображением кумгана. В тот вечер, щедрый от выпитого или пьяный от щедрости, принёс две стопки своих картин периода моей работы в Музее и раздал их сотрудникам. Протрезвев и через пару дней часть картин всё же собрал обратно.

Наиболее я был дружен с преданными подвижницами Музея Савицкого – Валею Сычёвой (сейчас она главный хранитель Музея) и Светланой Сониной (сейчас – заведующая сектором учёта и хранения.) Я делал с них наброски-рисунки и написал несколько их портретов.



В Музее можно видеть изумительные работы дяди Володи (Амана) Атабаева, скульптора, резчика по дереву. Он предпочитал промасленное дерево маслбойных ступ,

которое хорошо обрабатывалось и могло храниться веками без повреждений. Атабаев учился в училище имени Бенькова. У него был брат, Эдик Муратове, Отцы Володи и Эдика были женаты на родных сестрах.

Володя был гигантского роста, настоящий медведь. Эдик же был щуплый, как Савицкий, но ниже ростом. Если при таком телосложении у Савицкого был соответствующий фальцет, то у Эдика был могучий бас. В 60-е годы он одним из первых окончил отделение пения в Нукусском музыкальном училище и пел в фойе кинотеатра «Родина» на втором этаже, перед киносеансами. А в счастливые минуты жизни и во время застолий пел арии и романсы «О, если б навеки так было!» или «Налей полней стаканы! Кто врёт, что мы, брат, пьяны? Мы веселы просто, ей-Богу!».

Оба брата были знаменитые и невероятной храбрости охотники на кабанов. Но дядя Володя был в храбрости осторожен, боялся оставить без себя дочерей, Ольгу и Ирину, и жену Катю. Днём он высматривал тропы кабанов в зарослях тугаев под Кунградом. Потом отправлялся туда на ночь, выкапывал окоп и в нем лунными ночами ждал кабана. Иногда приезжал домой «пустой», но чаще привозил разделанного кабана в коробках по бокам тяжёлого мотоцикла. Помню, как осенью 1983 года он передал заболевшему Савицкому копчёный кабаньей окорок.

Эдик же охотился рискованно, в засаде, но без окопа. Рыбалку он любил больше охоты. А какая тогда была замечательная рыбалка на Казак-дарье, на Амударье, на муйнакских озёрах, где ловили метровых усачей и сазанов, и полуметровых лещей!

Я был в восторге от дяди Володи и называл его великим скульптором. С чем Савицкий, посмеиваясь, соглашался, но отмечал, что я перебарщиваю. Игорь Витальевич любил Володю и был к нему привязан. Они были на «ты». Несмотря на это Володя считал его наставником и тонким ценителем масок, орнаментальных композиций, медальонов, которые Атабаев, вырезал из дерева. Когда Володя приезжал к Савицкому в Музей, то издали было слышно: идёт громогласный кунградский «Хемингуэй». Но курил Атабаев не трубку или сигары, как Хэм, а огромные самокрутки с крепчайшим табаком.

Возвращался Володя из Нукуса в Кунград в грузовике, на который сам грузил очень тяжёлые пни и бревна. Однажды он взял меня с собой в Кунград. Всю дорогу, более 100 км, я просидел в кузове на брёвнах, отбил себе всё, что можно было отбить. Эти «дорожные впечатления» скрасили несколько дней пиршеств, на которых дядя Володя нарезал огромными кусками хлеб, огурцы, помидоры к огромным сковородам со свежей кабанятиной. В Нукус я привёз несколько своих пейзажей и несколько пакетиков с туркменским мумиё для Савицкого от Володи, за которым и ездил в Кунград.

В год похорон Савицкого Атабаев продал свой уютный дом с огородом в Старом городе Кунграда, купил полдома в центре Ташкента и переехал туда. Сначала устроился на работу в Дирекцию Выставок реставратором изделий из дерева. Работа не ладилась и он нервничал. Всё не мог забыть свой Кунград. Ташкент и ташкентцы казались слишком хитро мудрыми для его «провинциального» простодушия и открытости.

Говорят, что как-то он очень расстроился из-за того, что на улице вступился за старушку, которая покупала помидоры, а продавец сунул ей испорченные и наругал. После этого были разборки через чиновников, которые вынудили продавца просить извинения у Атабаева.

Замечательный художник Марат Худайбергенов рассказывал, что, навестив дядю Володю, видел, как тот после первого инсульта прыгал в своём дворе на одной ноге, занимаясь хозяйством, и делал вид, что «страшно ругается» со своими домашними. Второй инсульт после того случая с помидорами добил этого большого человека. Не прожил и одного года после смерти Савицкого. При чем тут смерть Савицкого? Когда



хоронили Игоря Витальевича, Володя спрыгнул в могилу, чтобы принять гроб снизу и мягко опустить на дно. Как я потом слышал, это плохая примета – лезть в могилу. Не очень-то верю в приметы, но уж слишком скоро после смерти Савицкого умер Атабаев.

В Музее работал и Саша-кришнаит, с которым познакомил меня мой отчим в филиале Академии наук, где Саша читал лекцию про кришнаизм. А Саша Абубакиров познакомил меня с Бхагавадгитой, Упанишадами и пр. Саша весьма профессионально переводил кришнаитские тексты, и когда мы сравнивали его переводы с чьими-то другими переводами, то Сашины были интереснее. Мы общались двенадцать лет, ходили в дома друг к другу, много разговаривали. Он считал себя был очень одиноким - с его фанатическим кришнаизмом не могли смириться ни родные, ни знакомые. Я как-то, успокаивая его бабушку, сказал: «Саша служит Богу, бабушка служит Саше и тем самым служит Богу. Лучше святой в семье, чем пьяница», – на что она мне прошептала: «Святой в семье более невыносим, чем пьяница». М-да...

Не могли смириться с кришнаизмом и различного рода «компетентные» организации. Саша рассказывал, что к нему приходили сотрудники МВД, КГБ, секретарь комсомольской организации города, заводили, якобы, разговоры о кришнаизме, а на самом деле прощупывали серьёзность новой угрозы для идеологии КПСС. Секретарь комсомола даже критиковал «мафию» КПСС, чтобы вызвать Сашу на откровенность, и сказал Саше, что теперь к комсомольцам перешла главная задача – вывести страну из идейного кризиса и накормить народ. В связи с этим помню, как проходя мимо горкома комсомола, я услышал стук топора по плахе, увидел груды бараньих туш и рубящих их комсомольцев, «кормильцев народа». Но так и не увидел это мясо в «народных» магазинах.

Я сказал тогда Саше: «Не будь идиотом, эти разговоры не случайны, к тебе ходят провокаторы по инициативе Зорина, секретаря обкома партии». Тот тоже напрашивался на «неформальную» встречу с Сашей в его доме, якобы чтобы «познакомиться» с новой для того времени религией, но Саша как-то выкрутился и визит высокого гостя - секретаря по идеологии! обкома КПСС! - к смиренному кришнаиту не состоялся.

### **ХОРОШИЕ ЛЮДИ И «НЕХОРОШИЕ» КВАРТИРЫ<sup>34</sup>**

В 1982 году Игорь Витальевич помог мне получить квартиру на улице Горького, в одном из домов, построенных ленинградцами в начале 50-х годов для строителей «Великой сталинской стройки века» (так называли тогда неудавшееся строительство Главного Туркменского канала, на который работал 2 года весь Советский Союз, но так и не построил)

Вход в квартиру был не из подъезда, а прямо со двора через прихожую (бывшую лоджию, обложенную кирпичом.) Ванная с туалетом были справа от входа. Прямо – вход в комнату, разделённую некрашеной фанерной перегородкой на комнатку с высоким окном на улицу и кухоньку с окошком, но в ванную.

Почему я пишу об этой квартире? Когда-то эта была первая квартира Савицкого в Нукусе и первое помещение для экспонатов будущего музея. В ванне Игорь Витальевич с сотрудниками стирал ковры, отмывал резные части юрт, которые они собирали во время экспедиций по районам Каракалпакии. Эти экспедиции продолжались до конца восьмидесятых годов, и я иногда в этих экспедициях принимал участие.

В этой же квартире до меня жил бывший фотограф Музея Эдик Муратов, которого, когда он пил, гоняла по двору его жена, большая, в теле, татарка. Жена от него ушла,

---

<sup>34</sup> Реминисценция романа Булгакова «Мастер и Маргарита, где один из героев говорит, что люди хорошие, но их испортил квартирный вопрос.

забрав сына, которого он очень любил и каждый месяц посылал почти все деньги, которые зарабатывал. Он продолжал жить в этой квартире, пока не приехала моя жена с детьми. Потом я понял, что это было единственное жилье Эдика, и мне до сих пор стыдно. В квартире осталась от него узкая самодельная деревянная кровать. До приезда моей семьи, мы с ним охотились на голубей, когда не было денег на еду, вернее, на закуску. Ловили голубей на чердаках домов и Академии наук: я туда лез с мешком в зубах и складывал в него голубей, пойманных Эдиком. Он после долгих мытарств в выпрашивании квартиры в горисполкоме, всё же получил в микрорайоне, неподалёку от бани «Хаммом», однокомнатную квартиру, где его нашли умершим в одиночестве.

Много хороших людей прошли через ту первую квартиру Савицкого. Когда-то в ней жила семья молодых искусствоведов Музея – Алик Нишанов и Эльмира Газиева. Алика я встретил в свои институтские годы, когда он работал реставратором в ташкентском Музее прикладного искусства. Эльмира долго работала в Музее Савицкого заместителем директора по науке, – вплоть до своего отъезда в Россию в конце восьмидесятых.

В той же квартире жила одно время искусствовед Валя Панжинская, автор одной из первых книг о Музее. Валя жила вместе с Эльмирой, когда Алик был в армии. Оттуда он писал мне, что причина моих неудач в том, что я боюсь взяться за дело, долго раскачиваюсь и поэтому много читаю и болтаю. Замыслы нельзя выговаривать, писал он мне, дело надо молча делать, потому что проговорённое как бы уже сделано. Я же оправдывал себя тем, что «В начале было Слово!» – и все прочее.

Ох, сколько хлопот мне доставила эта квартира - ежегодный ремонт водопроводных труб и канализации, которые были недостаточно углублены в землю и каждую зиму лопались от мороза! Мне приходилось долбить мёрзлую землю до труб, нанимать сварщика, сантехника, покупать трубы, укладывать их, просмаливать. Я все это делал капитально и очень гордился... до следующих морозов. Но труднее всего было терпеть то, что на втором этаже, над нашей квартирой, в такой же, но открытой лоджии вешали стиральное бельё и там же бегал огромный пёс, похожий на собаку Баскервилей. Его моча с бельевой водой текла к нам в прихожую и в кухню. Трудно представить, что под этими потоками жил и Савицкий.

Под этими же потоками мы встречали Новый год с Леной Худоноговой, Валей Тепловым, Эльмирой Газиевой, выходили на улицу после боя новогодних курантов, чтобы любоваться ночными звёздами, как огромными хризантемами.

Это теперь я понимаю тогдашний внимательный взгляд Савицкого и его вопрос – «Ты действительно ЭТУ квартиру хочешь получить?». Он намекал, что квартира на Горького нехорошая, что он поможет мне получить другую квартиру, а я, по своей глупости, решительно ответил, что хочу именно эту квартиру. У меня уже были дети, и мне нужен был свой угол, каким бы он ни был.

Вторую однокомнатную квартиру Савицкий получил в только что построенных «Черёмушках» в 60-е годы. Квартира была в среднем подъезде двухэтажного дома, второго от угла улиц Калинина и Гоголя, справа от двухэтажного магазина. Как-то мы шли из Музея в эту квартиру и увидели ужасное и символичное зрелище через окно трикотажного цеха на углу улицы Орджоникидзе. В длинном, убогом, мрачном зале, в чаде машинного масла, в духоте и хлопковой пыли, в грохоте вязальных машин работали ночью бледные женщины. А на дальней стене цеха висел лозунг «С полной отдачей – на каждом рабочем месте», портрет Ленина и «Обязательства бригады коммунистического труда»

В этой второй квартире в один злосчастный день Савицкий оставил включённый утюг, уходя в спешке на работу. Соседи заметили дым, вызвали пожарных и Игоря Витальевича. Много картин, книг, вещей сгорело. Но некоторые полотна отчасти сохранились – те, что лежали плоской кипой друг на друге и потому обгорели с краёв. Сохранились и подготовительные материалы к дипломной работе, над которой работал Савицкий в художественном институте им. Сурикова. Эти материалы изображают зарисовки и акварели с Юсуповского дворца в Архангельском. Если бы они были в подрамниках, сгорели бы полностью. В фонде Музея я видел эти холсты с натюрмортами размером метр на полтора-два метра. Наверное, их уже в Музее натянули на подрамники. Это была живопись Савицкого московского периода тридцатых-сороковых годов, когда он писал натюрморты для государственных учреждений. Я хорошо помню один натюрморт благородного умбристого цвета, покрытый лаком, – большой букет цветов в вазе на столе в темной комнате. Живопись классическая, мастерски исполненная. Эти натюрморты почему-то не были куплены госучреждениями и хранились в Москве, в квартире учителя Савицкого, Н. Ульянова. В этой квартире жила в мою бытность в Москве ученица Ульянова, Кира Киселева.

В этой же второй квартире Савицкого жил Волик (сын художника Александра Волкова). Несколько больших живописных полотен Волика Волкова украшали экспозицию в старом ещё здании музея искусств. Когда Волик приехал в Нукус в семидесятые годы, то ходил на этюды в окрестности Нукуса, куда я сопровождал его. Волик рисовал на больших листах бумаги этюды очень яркой жирной чешской пастелью. Я же рисовал простым графитным карандашом и мечтал работать такой же пастелью.

Третью квартиру Савицкий получил в 80-е годы, в новой девятиэтажке, напротив школы им. Пушкина и спортивного зала, которые я из окна рисовал пастелью и уже такой же, как была у Волика в его приезд в Нукус. В этой квартире Савицкий каждый день, не давая мне, сам мыл полы ногой (трубка для вывода пищи из брюшной полости не позволяла ему наклоняться.) Для него это было что-то вроде физкультуры. Потом будил меня. Он вставал всегда очень рано, затемно, часов в 5-6. Но и ложился часов в девять вечера, сразу после программы «Время», которую смотрел, чтобы быть в курсе того, что делается на белом свете. Тогда советское ТВ представляло конфликты в Палестине как издевательства израильтян над арабами. Савицкий, доверяя этим сообщениям, в сердцах поругивал израильтян.

С утра, до завтрака, кто-то из нас бежал в Музей открывать окна для проветривания залов и хранилищ или закрывать после проветривания. После завтрака мы отправлялись в Музей, где не замечали, как проходил день. Возвращаясь домой, Савицкий восхищался красотой ночного Нукуса, светящегося разноцветными окнами под низкими махровыми звёздами. Он восхищался на восходе или на закате тонкой игрой цвета и света на деревьях, зданиях и облаках и говорил, что только сейчас, в старости, когда он давно оставил занятия живописью, по-особому, иначе, чем раньше, видит цвет. Иногда он спрашивал сам себя: «Может быть, опять начать писать?»

Савицкий рассказывал о том, как он получил эту третью квартиру. После первой операции он лежал в нукусской больнице. В это время самая важная персона из Каракалпакии проходила в Москве медицинское обследование у кремлёвских врачей. Один из них, академик Ефуни при осмотре персоны спросил: «Как поживает Игорь Витальевич Савицкий? Как его здоровье? Говорят, он лежит в больнице». В ходе разговора дал понять – КТО такой Савицкий. После этого важная персона позвонила в Нукус и распорядилась оказать Савицкому должное внимание. И вдруг в душную многоместную палату, где лежал Игорь Витальевич, начались визиты высокопоставленных посетителей с пакетами фруктов и еды, что напоминало нечто вроде

оперетты с вбегающими и выбегающими актёрами. Кто-то из тех посетителей спросил – «Игорь Витальевич, в чем вы нуждаетесь?». Савицкий, «набравшись нахальства», попросил квартиру. Вскоре ему сообщили, что он может получить ордер и ключи. После упоминания Савицкого о том, что сам он не сможет оборудовать новую квартиру для жилья, кто-то из руководителей торговли обставил квартиру «дефицитной» мебелью, а другой торговый руководитель предоставил такую же «дефицитную» импортную посуду и, почему-то, хрустальные вазы, фужеры и рюмки.

Как-то Савицкий предложил Арслану посмотреть археологические находки. Чистые, вытертые археологические черепки лежали внавалку на пыльной полированной мебели и на пышной обивке дивана, кресел. В общем, эта квартира, как и прежние, использовалась в качестве реставрационной мастерской и хранилища Музея. Хрусталь пылился на полках, а Савицкий по-прежнему ел из металлической миски, как привык в экспедициях, в старом здании музея и на прежних квартирах.

В этой квартире писательница Милица Земская остановилась в свой последний приезд в Нукус, со своей большой дворнягой, возня с которой доставила мне ох как много хлопот. В квартире от прежних гарнитуров «импортной» мебели осталось только по одному дивану в каждой комнате. Обои отошли частью от стен, местами провисая. На кухне стоял небольшой стол и старенький холодильник с такой же старенькой газовой плитой. В зале в углу по-прежнему стоял тот же чёрно-белый телевизор, который Савицкий включал в девять часов вечера, чтобы посмотреть только Программу «Время». Земская в тот свой последний приезд в Нукус назвала меня «послушником святого Старца». Но я был не послушником, а трудником, а музей далеко не был монастырём<sup>35</sup>...

Савицкий из этой квартиры уехал в 1984 г. уехал в Москву лечиться. Я написал ему в Москву, в больницу, письмо, в котором отчаянно просил поменять мою квартиру на любую другую, поскольку дети задыхались от испарений собачьей мочи в той, первой его квартире, которую я опрометчиво выпросил у него. Ирина Коровай вернула мне через Альвину Шпаде это письмо и написала, что я поступил как апостол Пётр, который отрёкся от своего учителя Христа. Сравнение хромает, просьба о квартире – не отречение, плохо то, что просил на его предсмертном одре. Но я не верил, что он умирает, потому что... просто не верил в это.

И Арслан сказал мне, что я написал непростительное письмо. Тогда я подумал, что Савицкий не простит мне это письмо, и подумывал уйти из Музея в «халтуру», в художественные мастерские или в работу оформителем колхозных контор. 15 мая 1984 года я написал два покаянных письма: Савицкому и вдове художника Кибардина, чтобы она замолвила за меня слово перед ним.

Думаю, что Игорь Витальевич получил письмо, т. к. 11 июня он звонил из Москвы, ругал нас всех, как обычно, заслуженно и незаслуженно, а Гуле (Маринике Бабаназаровой) сказал, чтобы мне помогли с обменом квартиры. Но вскоре он умер, а без него обмен квартир был уже невозможен.

## **БЕГСТВО В ПРИЗРАЧНУЮ СВОБОДУ**

После смерти Савицкого я продолжил работать в Музее заведующим экспозицией экспонатов. Этими годами я горжусь только потому, что мне удалось тогда уговорить Квона вернуться в Музей для работы реставратором. А когда меня понизили до

---

35 Послушник проходит испытание трудов и жизнью в монастыре чтобы в дальнейшем стать монахом, трудник же временно трудится и живёт в монастыре, не собираясь стать монахом.

должности рядового реставратора, мы работали с Алексеем некоторое время уже вместе, до очередного его ухода из Музея.

В 1985 году из-за низкой зарплаты в Музее, я, начал работать и в художественном училище преподавателем. Оказалось, что по закону нельзя получать совместителям на двух работах полную зарплату, и в Музее стали платить половину зарплаты. На неё можно было купить только 0,5 л дешёвой водки для себя или 130 грамм мяса в день на всю семью. Можно было заняться «халтурой» – оформительством, но это значило запродать душу дьяволу, и на это, конечно, я не пошёл.

Наверное, надо было продолжать, ради детей, держаться за Музей как за «плот» в штормах 90-х годов, что помогло бы постепенно отдавать долги за продукты, купленные на зиму. Но не оставляла мысль о том, что придётся провести всю жизнь безвестным реставратором и ничего не добиться в своём деле – в живописи. Да и художник Буслов мне прямо и убедительно сказал, что если я останусь в музее, то пропаду как художник.

Может быть, я бы и остался реставратором в Музее, если бы платили не «полставки» или «ставку» за время присутствия на работе, а платили бы за её сложность, качество и объём. И хорошо бы было, если бы упоминали на наклейках картин – кто реставрировал. Иначе это работа штопальщицы старья, а не творчество такое же, как у автора картины.

Надо было выбирать между работой преподавателя в училище, реставрацией и живописью. Я выбрал - для «прокорма» преподавать, а всё остальное время отдать живописи и рисунку. Сидя в Музее, своего слова в искусстве не скажешь, а поэтому надо было уходить. Я знал, что первое время будет тяжело, но дал себе слово, что не буду больше покупать книг и меньше буду тратиться на еду, хотя и без того не покупал мяса.

Встал я на пороге, как оказалось, призрачной свободы, о которой так долго мечтал. Как трудно и страшно было бросать пусть бедное, но спокойное место в Музее! И Валя Сычёва говорила, что много картин нуждаются в реставрации, очень много. Я и сам знал это и успел отреставрировать лишь мизерную их часть, но всё же более 100 работ самых разных художников. Особенно пришлось повозиться с картиной Лысенко «Композиция с быком и антропоморфной фигурой».

Но как мне надоело латать и подкрашивать чьи-то картины! А потому и всё же ушёл, в том числе и потому, что знал, что «свято место пусто не бывает» - в 80-е годы Музей уже прославился, и работа в нем стала престижной. Вдруг стало много желающих работать в Музее, даже среди детей крупных чиновников, – в том числе для работы реставраторами. (И Иля, сестра, которая работала в Академии наук, намекнула, что на моё место реставратора много претендентов.) Так бывает, когда плоды кто-то выращивает, а другие пытаются сорвать их готовыми. Но синекура для детей «шишек» не состоялась: работа в Музее тяжёлая и низкооплачиваемая, поэтому остались служить ему те, кому он действительно дорог и кто заслужил эту честь.

Да и времена человеческих отношений в Музее, складывавшихся под авторитетом Савицкого, кончились тогда из-за конкуренции за работу в Музее. Между работниками обострились отношения, выстроенные на взаимных склоках и бездушии, в том числе из-за «демократических спектаклей» выборов на должности и посты, как это было в «перестроечные» годы. В ярых интригах сложились две группировки: одна, условно, «татарская», а другая была за Маринику Бабаназарову. В последней был и я.

И хорошо, что её назначили без всяких выборов. В том числе и потому, что отец Мариники, Марат Нурмухамедов, был покровителем Музея, единомышленником Савицкого, и приложил в своё время большие усилия, связи и авторитет, чтобы этот музей

был открыт. Это был большой человек, один из подлинных интеллектуальных лидеров каракалпаков.



Мариника сохранила и сохраняет Музей, сумев сберечь тот дух в коллективе, что был при Игоре Витальевиче, и даже удерживать в Музее сотрудников-мужчин, которых вытесняли, в общем-то, очень добрые женщины, если бы не «конкуренция» за работу в Музее.

Мне кажется символичным то, что в день смерти Савицкого из Музея украли распятие Христа из слоновой кости (которое поступило в Музей, в числе прочих копий работ из Лувра, которые заказала Надя Леже<sup>36</sup>, жена художника Фернана Леже).

Чуть позднее, ещё до назначения Мариники директором, кто-то из сотрудников пытался украсть несколько картин, но ему не удалось. После этого в Музее были приняты меры безопасности: установили милицейский пост, решётки, сигнализацию. Те времена, когда сотрудники приходили в Музей со своими ключами, закрывали главную дверь на ключ, а другую – изнутри на хлипкую щеколду, миновали. Музей сейчас охраняется тщательнее, чем банк, и потому свободный доступ к фондам, который был когда-то у меня, стал невозможен.

После смерти Савицкого в Музей зачастили с проверками ташкентские чиновники и чиновники местного Министерства культуры, которые были озабочены поисками недостатков в работе сотрудников, в том числе моим отсутствием в урочные часы на службе. По результатам проверок министр культуры готовил приказ о моём увольнении за нарушения дисциплины, а вернее – за мой отказ от работы на сборе хлопка. Однажды я не выдержал придинок, пошёл к Маринике и написал заявление об уходе. Она уговаривала меня не уходить. Я чуть не расплакался и убежал.

Квон уговаривал вернуться в Музей. Он считал, что только здесь я найду себя. Но я не стремился к карьере в Музее, да и не смог бы её сделать. И поэтому полностью ушёл в преподавание. В училище я преподавал с 1984 по 1996 годы, почти 12 лет. Преподавали здесь в основном молодые художники – выпускники вузов и училищ: Рашид Латыпов, скульптор Толеген Жаксыбаев, керамист Бердыбай Тажимуратов. Из молодых помню ещё

---

<sup>36</sup> Искусствовед Ильдар Галеев написал мне, что эти копии были подарены в Музей искусств им. Пушкина, а директор этого музея, И. А. Антонова распорядилась распределить копии по провинциальным музеям, в том числе в нукусский музей. (Примечание А. Жолдасова).

и Адыла (ах, как он пел казахские песни!), Айнабая, Нурсултана и Гулю Ембергенову, которая закончила в Ташкенте тот же факультет, что и я, – «Интерьер и оборудование». Она, умница, молодец, возродила знаменитую теперь каракалпакскую вышивку. Из «старых» же художников, кого помню, был Ислам Джаксыбаев. Среди моих студентов были очень талантливые и даже гениальные ребята. Работы некоторых из них я сохранил. Стали ли они художниками?

В начале 90-х годов, в ожидании голода в стране, я начал сушить сухари (вспомнив флотские сухари, которые на корабле запасали для тех, кто не мог есть ничего другого из-за морской болезни.) Насушил несколько огромных мешков – 200 кг. Заработка действительно не хватало на продукты, но свирепый голод так и не наступил. Поэтому один мешок я отдал Адылу, другой Исламу и ещё кому-то. Они удивились тому, что я сушил сухари, и, кажется, размололи их в толкын<sup>37</sup> и съели.

В 1988 году умерла в Ташкенте моя тёща, и Люда с детьми уехала в Ташкент. В Нукусе свирепствовал гепатит - детям жить там было опасно из-за дефолиантов и прочей сельской химии. Через несколько лет и я уехал в Ташкент. А зря. Жизнь в Ташкенте была далеко и очень не «мьёд», как называла мёд мама. Работы не было, и пришлось работать интервьюером для социологических центров. Когда я приезжал с анкетами в Нукус, то старался найти время, чтобы зайти в Музей, в библиотеку, посмотреть картины в залах экспозиции, поговорить с сотрудницами Музея, зайти в училище и узнать о жизни нукусских художников. А художники сетовали на то, что без Савицкого стало туго, работы их покупали лишь редкие новые «буржуа».

Ушёл из Музея скульптор Жолдасбек Куттымуратов, часть сотрудников уехали из Нукуса в Россию и в Казахстан. Очень хороший художник С., чьи работы приобретались Савицким и Музеем, сейчас пишет работы для саун, офисов «новых каракалпаков», кому придётся. Мне рассказывали, как он искал заказчиков. Напишет чей-то портрет, потом ходит с ним по городу, обходит базар, показывая, как приманку, и на это нет-нет да клюют. А как ещё прокормиться?

Художник У., которого Савицкий ценил как чудного каракалпакского примитивиста, побирается на кладбище, читая молитвы. Музей выставил в своём магазине его этюды, чтобы помочь ему, но их мало кто покупает.

Художник Б. начал писать, угадывая вкусы появившихся любителей искусства. Когда я проводил интервью с предпринимателями, то познакомился с Р. Весь его кабинет был в работах Б., которые, надо отметить, довольно неплохо смотрятся. Но сам Б., несмотря на некоторый спрос на его работы, как кто-то говорил, не мог найти деньги для операции на глазах, состояние которых не позволяло ему писать картины, зарабатывать.

В семье прекрасного скульптора К. кто-то заболел туберкулёзом из-за нужды. Господи, я могу представить, каких усилий стоило К. искать и покупать лекарства! И Люда, моя жена, тоже болела туберкулёзом, я делал ей уколы, покупая лекарства на барахолке около мусорки на Куйлюкском базаре, позади мавзолея Куйлик-ота. А ведь лекарства по закону должны были быть бесплатными. Куда только Люда не писала умоляющие письма с просьбой выдать лекарства. В конце концов приехал из аптекоуправления какой-то чиновник и... попросил написать благодарность за якобы «выданные» лекарства, которые пообещал обязательно передать нам, но так мы этого и не дождались.

Но хватит нытья и вспомним более радостное, а именно то, что, в сущности Савицкого с его музеем можно назвать основателем школы изобразительного искусства в

---

<sup>37</sup> Прожаренная мука

Каракалпакии, а творчество художников, которые создали эту школу – пиком расцвета искусства. Об этом говорит и то, что залы Музея с работами каракалпакских художников ничем не уступают залам с произведениями художников, собранных Савицким за пределами Каракалпакии. Продолжится ли эта школа и далее? Надеюсь, что да!

## О СВОЕЙ ЖИВОПИСИ

Моя первая персональная выставка живописи прошла в Музее при жизни Савицкого, когда он в 1978 году сделал первую и самую большую закупку моих работ. Игорь Витальевич хотел купить все мои работы, на 5 тысяч рублей. По тем временам это были огромные деньги (стоимость автомобиля.) Но его отговорили «старые» художники, которые тоже нуждались в закупках, а у Музея был не только лимит на закупки, но и множество долгов за уже приобретённые работы. Все же часть моих работ Савицкий тогда приобрёл.

Я тогда писал работы стандартного размера, на грунтованном фабричном картоне, примерно 50 на 70 см. Все месяцы летних каникул в институте, пока был на раскопках в Эликкале, – после дообеденных раскопок, с трёх часов пополудни и до вечера, писал пейзажи и виды крепостей. А дома и ночью, при электрическом свете, писал натюрморты и дописывал пейзажи. Утром, когда рассветало, успевал написать ещё один-два этюда. Такой бешеный темп работы я выдерживал всё лето.

В Москве, когда я был там с Савицким, на меня произвела огромное впечатление выставка немецких экспрессионистов. Я понял: это только по репродукциям кажется, что у них небрежная живопись. На самом деле это были очень утончённые, изошрённые работы. Я говорю о картинах Пехштейна, Шмидт-Ротлуффа, Кирхнера и других. После них я писал в схожем стиле: мост через Кыз-Кеткен, с ржавыми трубами, лежащими на берегу, парк и виды старого театра, старые двухэтажные дома в Нукусе, а в морозную зиму писал солнце, просвечивающее сквозь тёмные пасмурные облака... Мрачноватая была живопись. Часть этих работ в экспозиции Музея, и, сотрудницы музея говорили, что эти работы понравились знаменитому узбекскому художнику Джавлону Умарбекову.

Потом начался период работы темперой. На картоне я писал множество лиц, но скорее ликов, с натуры или по зарисовкам и наброскам. В тот период мне был близок по стилю Фернан Леже. В этих работах я добивался совмещения достоинств живописи и графики, но в некоторых портретах сквозила явная и излишняя «графичная» лаконичность.

Потом начался период абстрактных работ, потом период натюрмортов.

Затем были три последовательных «джампыкских» этапа, когда я около месяца писал пейзажи у древнего городища Джампык. В первый свой джампыкский период случилась печальная история, которую я никак не могу забыть. Мне надо было остаться до конца археологической экспедиции на пейзажах у Джампыка, но меня отправили от музея на сбор хлопка. Все свои работы я оставил в комнатке дома лесника. А когда приехал, то не досчитался около 20 работ из 60. Как оказалось, начальница археологической экспедиции стащила работу «Вид с закатом», а часть других я нашёл в соседней экспедиции, но геологов.

В Музей тогда из Ташкента приехала маститый искусствовед Римма Еремян и В. Ванякин – для урегулирования склок между сотрудниками по поводу увольнений и распределения должностей. Она читала лекции, показывала слайды с работами современных ташкентских художников и рассказывала о них. Начальница экспедиции пожаловалась ей на моё требование вернуть работы и заявила, что Жолдасов – бездарный художник. Если я бездарный, зачем она украла мою работу?! Римма Еремян и успокаивала меня, и осаживала, советуя останавливаться и обдумывать то, что я пишу.



Говорила, что слишком много висит моих работ в Музее и на выставках, что меня захваливают и что это – «удушение младенца подушкой».

Еремян глубоко предана искусству. Она судит об искусстве как широко эрудированный профессионал, но при недостатке деликатности слишком яростно непримирима к тем, кого называет посредственностями, бездарностями, будучи глубоко уверена в собственной непогрешимости и в верности своих оценок. Все её оценки основаны на бешеном темпераменте, всячески обуздываемым железной уздой воли.

Вся её жизнь посвящена искусству, а потому внутреннее оправдание свой критики она находит в выполнении своей священной миссии: чистить авгиевы конюшни современного искусства, с фанатичной решимостью вырывая беспощадной дланью «сорняки», разросшиеся в саду живописи Узбекистана. Как миссионер, которому, в его пророческом предназначении, Всевышним дано право искоренять ересь и инакомыслие, как «Савонарола» – «инквизитор» современного искусства. Видимо, поэтому она даже в произведениях Пикассо выискивает черты религиозной одержимости и подчёркивает её.

Слушая её и вглядываясь в слайды, которая она показывала, я думал, что в поисках формы некоторым художникам кажется, что искусство проявляется в искусной импровизации, в божественной лёгкости выражения, в непринуждённости и свободной игре с натурой и красками. И я раньше пытался импровизировать, в расчёте на «гениальность» случайных находок. Но не понимал простой истины, что искусство проявляется, прежде всего, через пристальное изучение природы и в основательной ремесленной подготовке, как у Модильяни, Ван Гога, Мунка, у которых очень тщательно выполненные работы лишь кажутся импровизацией. Потому мне больше по душе художники, которые изучают мир, нежели те, которые по-своему интерпретируют его.

И важно не количество исполненных работ, а их качество. К примеру, каждая работа Леонардо - как филигранно отшлифованный алмаз – над которой он годами работал, перевоза с собой из города в город, порой оставляя некоторые из них незаконченными.

Некоторые из художников выражают не своё отношение к миру, а иллюстрируют свои, и даже не свои идеи, что бывает иногда достаточно громко как в звуках барабана, но громко потому что пусто.

Еремян, скорее всего, права в критике художников, но, наверное, следует их понять, а потому простить. Они вынуждены искать заработок, чтобы обеспечить семьи, детей, и надо благодарным быть художникам хотя бы за то, что они находят в себе силы для Искусства после «халтурной» работы для заработка.

Жаль, конечно, что возвращаясь к творческому поиску после плакатной «халтуры» или угождая вкусам салонов, некоторые художники невольно впадают в броские формы, в которых каждый хочет выделиться и обратить на себя внимание рынка, потому что упорный и безвестный труд не принесут выгоды. Этот труд требует самопожертвования и, что ещё больнее, вольно или невольно требует нести в жертву Искусству нужды родных и близких людей.

И всё же и тем не менее, Художник должен работать только на себя и для себя, не взирая на рынок, семью и суету вокруг себя. В идеале между природой и творением художника не должно стоять ничто. Примером тому Ван Гог, Мастер, которые дошёл до пределов совершенства простоты в живописи. А простота в искусстве труднее даётся, чем вычурность. Мудрить – просто, как ни парадоксально это звучит. Поэтому некоторые художники и не изучают глубоко природу, мир, пейзаж, человека, а торопливо импровизируют на тему природы, и потому картина мира в их произведениях выглядит фантастической или brutальной. Они видят не мир и природу, а смотрят на них сквозь

туманно литературно-поэтические философствования. В работах этих художников много эгоцентризма, к которому примешано чувство элитарности, гордое ощущение себя творцом нового мироздания, ощущение исключительности права на своё видение, каждый раз (вроде бы) самое верное, ни на кого не похожее.

Вполне понятно стремление занять своё место, отвоевать его, быть непохожим, выделиться и не затеряться среди сотен других художников. Однако все это, мне кажется, приводит к тому, что получается зачастую прямо противоположное, когда художник пытается найти компромисс между вкусами покупателей и своим стремлением к самоутверждению в творчестве. Наверное, отчасти здесь повинно подражание сюрреалистам, экспрессионистам, постимпрессионистам и даже советским «натуралистам» 40-х и 50-х годов.

И я, грешен, был увлечён «коллекционированием» стилей в своих работах. Мне бы сразу, ещё в институте, начать серьёзно и тщательно, непрерывно работать. Сколько времени потрачено на ненужные мне дела!

Но вернусь к своей живописи. Был у меня период, когда я отказался от темперы и работал пастелью и масляными красками, с рассвета и до заката, ловя перемены цвета в пейзажах.

Самым плодотворным периодом для меня были 1980–1983 годы, когда с Савицким я ездил на Джампык-калу. В первый раз я поехал весной, писал там темперой условно-схематические работы на обрывках холста и картонах. Вторая поездка была летом, когда я писал картины размером 50x100 см, темперные и гуашные вариации закатов, крепостей, гор. В день – по 20-30 этюдов. В крепости валялись целые груды тюбиков... Вторая поездка была осенью 1984 года. Я тогда привёз оттуда целый автобус картин. В день писал по 3-4 больших холста маслом, до обеда успевал написать этюд. А вечером, ночью – у костра делал рисунки углём. Это было время колоссального творческого куража.

В 1985 году был мой третий и последний Джампыкский период. Жаль, что тех моих работ маслом Савицкий уже не увидел. Несколько работ я продал в Музей, несколько других у меня сохранились, – с ними я вступал в Союз художников, где до вступления был членом живописной секции объединения молодых художников Узбекистана и чуть ли не стал её председателем.

Рекомендации в Союз художников мне дал художник Базарбай Серекеев и скульптор Жолдасбек Куттымуратов. Просмотр работ претендентов шёл в ташкентском Центральном выставочном зале, где каждый художник выходил и рассказывал о себе, показывал работы. Смотрели их Талдыкин, Бурмакин, Джалалов и другие. Видимо, они сочли достойным видеть меня в своих рядах в их Союзе.

Практической выгоды от членства в Союзе Художников в конце 80-х годов уже не было, кроме того, что я мог бесплатно ходить на все выставки. Зачем тогда надо было вступать в Союз художников? Наверное, для признания коллегами-художниками и ради права получать больше денег за работы. Членство в Союзе художников позволяло продавать работы через художественные салоны, а не на арт-базарах и где ни попадя. Но и в салонах мало кто покупал живопись. Когда я сдал в салон Музея свои работы, то они висели годами, и единственное, что у меня купил там японец (Накахата-сан) в 1992 или в 1993 году, это «Ствол дерева с опавшими листьями», давнюю студенческую работу. И несколько абстрактных работ купил по 10 долларов какой-то голландец, который коллекционировал произведения русского авангарда. Сравнив эти цены (две бутылки водки за картину!) с теми, за которые покупал мои работы Савицкий (по более, чем 100 долларов по курсу тех времён), я перестал сдавать свои картины в салон.

С 1993 года и в последний раз я продал несколько своих работ в 2000-м году Алишеру Ильхамову для фонда «Открытое общество». Купил квартиру дочери на эти деньги. Квартиры тогда стоили очень дешево – по 3 тысячи долларов. После закрытия фонда Алишер вернул мне работы безвозмездно, хотя мог бы и не возвращать. Алишер в 80-е годы учился живописи в Ташкентском театральном-художественном институте и, как я слышал, писал интересные этюды, выезжая в горы с сотрудниками первого в Средней Азии центра социологических исследований, который он создал в начале 90-х годов.

К абстракциям в русле супрематизма, геометрически-космического направления в живописи, я вернулся в 1983 г. Толчком послужили работы Кудряшова, замечательного русского художника. Он много лет работал оформителем на ВДНХ<sup>38</sup>, а когда в 50–60-е годы в СССР началась эпоха космоса, вспомнил свои молодые искания. Его работы висели на втором этаже старого здания нукусского Музея, там я с ними и познакомился. Сначала я писал абстракции на картоне, потом на фанере.

В реставрационной мастерской Музея я писал большие натюрморты – со статуями, в том числе «Натюрморт со скульптурой Венеры», и начал натюрморт с предметами зороастрийского культа. Потом начал писать огромный портрет Сониной и портрет Елены Андреевны, многолетней старушки-смотрительницы Музея, – и оба не закончил.

Почему-то помнятся незавершённые работы, проданные и раздаренные. Что с ними и где они сейчас?

В 1985 году я получил мастерскую в разваленном здании, где не было электричества, отопления, с крыш текла вода, а коридор на втором этаже провалился на первый этаж, и художники пробирались в свои сырые мастерские как тени в темноте, рискуя свернуть себе шею. В этой развалюхе-мастерской жёстко и долго я писал натюрморт с белыми драпировками на фоне арбузов и цветов, оставшихся после поминок – годовщины со смерти Савицкого. Картину купил Музей за приличные по тем временам деньги, на которые я смог запасти продукты для семьи на зиму.

В 90-е годы в одной из мастерских в том же разваленном здании я писал небольшие натюрморты с хлебом и овощами. Писал без белил. Старался добиться эффекта золотого свечения и вместо белил использовал стронциевую жёлтую из банок и кадмий жёлтый. И получался хлеб, золотая драгоценность! Потом так же писал овощи, кумганы.

Почти все мастерские в том разрушенном здании пустовали, работали только два-три художника. Иногда в этих мастерских мы пили после или вместо работы. Говорили о Рембрандте и всматривались в репродукции его работ, в каждый его мазок и радовались, когда обнаруживали завершающий мазок – пастозный, светлый, мощный, экспрессивный, расплавленный в драгоценный свет. Обсуждая его работы и оправдывая свою нищету, напоминали друг другу, что и Рембрандт умер в нищете, забытый, и открыт был заново лишь почти через сто лет после смерти. И каждый из нас втайне мечтал о том, чтобы не остаться безвестным.

Как-то я сказал теще Арслана, которая была очень практична, что художникам сейчас трудно. Она ответила, что в 60-е годы было модно отдавать своих детей «в искусство». Казалось, что страна и власть в ней будут вечны и что художники всегда будут нужны им. В это же время валом пошла переводная «шоу-литература» о непризнанных гениях, создающих в нищете на чердаках величайшие творения. И вдруг, как в истории с Золушкой, приходят искусствоведы, которые открывают сокровища художников миру и человечеству, ну и так далее.

---

<sup>38</sup> Всесоюзная выставка народного хозяйства СССР.

Это были легенды о Ван Гогге, Гогене, Лотреке, Мане и о других художниках. На удочку этой великой, но легенды попались поколения художников. Сейчас эта легенда мертва. Столкновение с буржуазной реальностью, с «рынком» потрясло искусство, как потрясло прекрасного художника Зильбермана. Он создавал удивительные импрессионистичные полотна, но в последние годы увлёкся натурализмом, писал этнографические, очень «сделанные» чуть ли не фотоспособом небольшие картины – старый Ташкент, старики, лепёшки, виноград, гранаты и пр. После распада Союза набежали коммерсанты, скупили его работы чуть ли не 50 долларов за картину, и он был очень счастлив. А когда выехал в Германию и там увидел одну из своих проданных работ стоимостью в тысячи долларов, его, говорят, чуть не хватил удар! Да, художники в торговле своим искусством редко бывают успешными.

### **КНИГИ - МОИ ДРУЗЬЯ И СОКРОВИЩА**

Как приятно перебирать и просматривать книги! Книги – это главное моё богатство после детей и живописи. Они не предадут и всегда будут с тобой, научая хранить мужество во всех испытаниях. Моё стремление к книгам объяснимо: я был заключён в одиночество в глуши провинции, но в книгах внимательно наблюдал за их героями и видел в них отражение граней своей жизни.

С детства меня окружали огромные шкафы с множеством книг. Когда мне было 5 лет папа из Москвы привёз мне мою первую книгу о львах, разноцветную, с глянцевыми листами. Я смотрел на строки и шевелил губами, будто умею читать.

Начал читать я до школы. Чтением моим никто не руководил, я рос «дичком» среди книг и шёл за ними туда, куда они вели. Как я любил сидеть дома в углу около шкафа и погружаться в миры Жюль Верна, Уэллса или в приключения Кожаного Чулка!

В 60-е годы начали летать спутники, полетел в космос Гагарин. Я зачитывался Беляевым, Ефремовым, смотрел по ночам на звёзды. Читая «Туманность Андромеды» Ефремова, представлял, будто сам нахожусь на этом корабле и лечу в безжизненном пространстве космоса. Уже тогда я начал делать композиции на космические темы, до впечатлений от картин Кудряшова.

После приезда из Нукуса в ташкентский интернат началось чтение русской классики. А увлечение книгами по западной философии пришло в студенческие годы после размышлений о неизбежном уходе в пустоту, в Ничто, в полное исчезновение. Всему складу моей души и моей рефлексии был близок экзистенциализм, как философия, обращённая к человеку непосредственно, как отчаянная попытка любви и помощи страдающему человеку. Так у меня определились избранные писатели – Гессе, Маркес, Томас Манн, Достоевский, Гамсун, Рильке, Гельдерлин, Ду Фу и другие гении.

Доступа к трудам Сартра, Кьёркегора, Камю у нас тогда не было. Я знакомился с ними через редкие цитаты в советской «критике западной философии». Это уже потом, в 80-х годах, собрал полное собрание «Философского наследия». Так же было с Библией, которую я изучал по цитатам из атеистических книг. Затем, как «археолог», пытался воссоздать в воображении содержание оригиналов книг. Зачем? Потому что без этих писаний невозможно понять историю и суть европейской и российской культуры и искусства.

Книгу Книг – Библию в первый раз я увидел, когда мне было 17 лет у Нади Косаревой, вернее, у её тётушки, одинокой старушки, в маленькой угловой комнатке, где в углу висели, иконы и репродукция с изображением Христа, – кажется, с картины Васнецова.

Моя дипломная работа по живописи была посвящена Наде: - в синем платье, с красными тюльпанами в руках. Мы проводили дни и ночи, насыщенные острой и неожиданной влюблённостью и романтизмом Кубинской революции. Наша любовь шокировала окружающих. Я тогда ещё учился в школе. Надя была старше меня на шесть лет. Это была первая женщина, которую я любил по-взрослому, боготворил её. Все было настолько ошеломляющим и неожиданным, что и сейчас мне кажется: это было сном. Мы говорили ночи напролёт, курили сигары, слушали музыку. Дописал я её портрет уже без неё, она уехала на Кубу, к мужу. С тех пор я Надю не видел. Через полгода я прочёл все её письма, целую кипу, почему-то доставленные почтой разом. (Это было, когда мы с Савицким сидели в кино, Игорь Витальевич знал, от кого письма, но выговорил мне за то, что читаю личные письма не наедине).

Второй раз я увидел Ветхий Завет у Лены Худоноговой. В третий раз мне попало в руки издание Библии Народно-трудового союза, когда я служил на Северном флоте. Наш большой противолодочный корабль «Дерзкий» пришёл в Швецию, и матросам на берегу кто-то раздавал маленькие книжки с тончайшей папирусной бумагой. В них были и Ветхий, и Новый Завет. Я читал книгу за докторским столом в своей амбулатории и делал выписки. Корабельный доктор увидел это выписки, страшно испугался и донёс замполиту<sup>39</sup>. Тот вызвал меня и возмутился моей неблагонадёжностью: «Что это такое, ты же комсомолец?!». Библию отняли, и меня не взяли в кругосветное путешествие – как потенциального «диссидента». С тех и до сих пор мне кажется, что чтение Писаний – это уголовно наказуемое преступление.

Я переписывал Библию в свои тетради до тех пор, пока Арслан в конце 80-х годов не купил мне за 150 рублей в Москве протестантскую синодальную Библию с комментариями. Отчим был удивлён, сказав, что самая дорогая книга, купленная им, «Ренуар», стоила 40 рублей, на которые можно было купить целых 10 кг мяса.

Жаль, что в студенчестве я не собирал книги, хотя в те годы можно было купить прекрасные издания, особенно в магазинах «Академкниги», которых в Ташкенте было несколько. В 90-е годы они закрылись, потом появилось множество букинистических магазинов, но и их большая часть закрылась. Магазин на улице Абая не мог платить очень дорогую аренду помещения. Закрылся магазин на улице Беруни, в студенческом городке, – продавец, русская девушка, ушла в декретный отпуск, и больше не вернулась. Она хорошо относилась ко мне, помогала продавать книги из моей библиотеки. Хороший букинистический магазин был напротив кинотеатра «Панорамный». Туда я тоже сдал много книг, но в прошлом году мне их все вернули, сказав, что нет покупателей. Сейчас мои книги лежат только в магазине у его хозяина Лёни, на улице Шота Руставели. Лёня – кореец, хороший, вежливый парень. У него в этом же магазине работает продавцом пожилой узбек. Двадцать лет назад он был продавцом продмага на ул. Заводской. Я к нему заходил, бывало, выпить 100 грамм перед ужином. Он сбежал из продмага в книжный магазин, потому что, как он сказал, торговля книгами пусть не прибыльное, но самое спокойное занятие.

Я тоже бежал от жизни в книги, в монашеское начётничество, в поисках покоя, в этом и радость моя, и трагедия неудачника. Пессимизм в ожидании личного самоутверждения оказался сильнее обрётённых знаний. Впрочем, не нужно искать оправданий, всё можно объяснить и оправдать, жалея себя. Все пороки начинаются с жалости к себе, с самооправдания не-деяния.

---

<sup>39</sup> Заместитель капитана судна по политическому воспитанию команды.

Но, Боже мой, в какой нищете жила мама и моя семья, когда я был увлечён покупками книг! Как-то я показал ей альбом художника Перова, гордясь покупкой, она посмотрела репродукции и заплакала. Что-то они напомнили из её детства.

### «РОДИНА – УРОДИНА»<sup>40</sup>

Книги помогали мне не только в бегстве от жизни, но и дружить с такими же «беглецами» в книги, как и я. Один из них – мой друг Женя Т. (ему было за 60 лет в конце 90-х годов), у которого я часто бывал, когда мы обменивались книгами или рассматривали фотографии из его семейного архива. Я помогал писать на обратной стороне снимков имена их персонажей, о которых рассказывала его престарелая матушка, Нина Ивановна. Вся история страны отразилась в истории их семьи, впрочем, как в истории семей многих моих друзей. Расскажу пока о семье Жени по этим фотографиям и рассказам его матушки.

Дед Жени после японской войны вернулся без ног. Он получал очень хорошую пенсию, и семья не нуждалась. Говоря про эту пенсию, Нина Ивановна вспомнила друга своего отца, некоего Денисова: в германскую войну 1914 года он был в плену и писал письма оттуда: «Ишева (хлеба) нет, зато бульба каждый день»), а после возвращения из плена «Сам Государь-Царь!» дал ему хорошую пенсию и он жил не нуждаясь. (Я тогда подумал, вспоминая рассказ папы про Жанабая-ага, про их аул и парня, обезноженного после войны 41-45 годов, что невозможно даже сравнивать отношение к воинам-инвалидам в царское и в советское время).

Отец Жени, Дмитрий Данилович Т., работал бухгалтером в Стерлитамаке, бежал от репрессий 30-х годов в глухой городок Турткуль, который затерялся между пустынями Кызылкумы и Каракумы. В этом городе Женя ребёнком запомнил, как пошёл смотреть фильм «Пётр Первый». После фильма на площади по громкоговорителю услышал речь Молотова о начале Великой Отечественной войны. Пришёл домой, а соседские мужики уже собрались и пили водку, прощаясь. Отец Жени с войны вернулся израненный, работал так же, как и до войны, бухгалтером, был арестован за то, что вёл «чёрную кассу», осудили его на 10 лет заключения, умер в ташкентской тюрьме, не дождавшись амнистии по случаю смерти Сталина. (Нина Ивановна, вспоминая, почему-то всякий раз говорила, что у него были жидкие волосы и потому он брил голову.)

Константин, брат Дмитрия Т., скрывался в гражданскую войну в Сибири и от белых, и от красных, не хотел воевать, но все же попал на службу к белым, где и пропал без вести. На фотографии Константин, видимо, поручик, с Георгиевским крестом на груди, с саблей и кобурой на портупее.

Сестра Дмитрия Т., Елизавета, погибла от холеры в 20-е годы, а до революции работала учительницей. На её фото – молодой красивой девушки, снятой вместе с подругой, – надпись «В день окончания гимназии 3 мая 1912 года». И такая печаль в её глазах!

Дед Жени по матушке, Иван Митрофанович М., работал письмоводителем на кожевенном заводе в Стерлитамаке. Частью подкопив, а частью под заложенный вексель выстроил дом. В гражданскую войну он тоже скрывался от мобилизации и в белую, и в красную армию. Когда Иван читал ночами книги, то жена иной раз просыпалась от его вздохов и плача. Он объяснял свой печали тем, что уж очень трогательная книга. (Какая библейская простота!)

Старший сын Ивана Митрофановича, Володя, погиб в 15 лет: его убил восемнадцатилетний товарищ в ссоре по поводу дележа ягодных участков калины.

---

<sup>40</sup> Реминисценция песни «Родина» Юрия Шевчука.

Родители убийцы пытались скрыть труп, подтащили к реке и завалили валежником, чтобы ночью сбросить в речку Белую. Однако Иван Митрофанович раньше, той же ночью на лошадях с надзирателем полиции и с помощью собак нашёл тело своего первенца, – пуля прошла сквозь сердце навывлет.

После Володи у Ивана Митрофановича родились четыре дочери – Александра, Мария, Нина и Евдокия. Когда крестили Александру и священник хотел её назвать Фёклой, отец воспротивился и пригрозил оставить её некрещёной, если не назовут благозвучно Александрой. Иван был неверующим, однако под давлением жены ходил в церковь, чтобы не подавать «дурного примера» дочерям.

Александра М. была самая красивая из сестёр. У неё в 30-е годы в шестилетнем возрасте умерла дочь от менингита, а сын, вопреки уговорам отца, доцента Данилова, ушёл служить на флот с тем, чтобы после службы поступить в институт. И погиб на третий день войны на Балтике. Александра, узнав об этом, помешалась, – бродила по улицам в поисках потерявшегося малолетнего сына и звала его к себе.

Мария М. вышла замуж за Михаила, капельмейстера. Он в войну 41-45 годов попал в плен к немцам, бежал, воевал в партизанах в горах Югославии, где отморозил ноги и страдал от боли в них в непогоду. Умер после войны. Сердце не выдержало угроз каждодневного ожидания ареста за то, что был в плену. При его жизни Мария родила ему дочь, очень красивую, которая впоследствии вышла замуж за лётчика, родила сына. Муж дочери в авиакатастрофе получил травму ног, был отправлен на нищенскую пенсию по инвалидности, замёрз в сугробе после очередного запоя.

Евдокия родилась в 1906 году, жила в Стерлитамаке. Её сын в малолетстве, в 10 лет, вынужден был пойти работать на военный завод, чтобы как мужчина, рабочий, получать повышенный паёк хлеба и прокормить мать. От непосильной работы его скособочило, вырос горб.

Сама Нина Ивановна после смерти мужа, Дмитрия, осталась с десятилетним Женей и восьмилетним Володей, но сумела вырастить их и дать инженерное образование. Женя стал хорошим инженером и вышел на пенсию в 1991-году. Пенсия у них обоих такая маленькая, что едва позволяет покупать скудную еду и лекарства.

Сейчас Нине Ивановне 87 лет. Женя тяготеет тем, что у матери аномальная психика, которое было незначительным в молодости, а сейчас сказывается острее. Я и сам это вижу, когда она всякий раз в очередную нашу встречу гладит меня по голове и говорит с удивлением, что никогда меня не видела. Но память о далёком прошлом у неё отменная, судя по детальным рассказам о родных. Пишет очень грамотно и даже сама! переписывается с сестрой и подругами юности.

Нину Ивановну так мучает боль в ногах, что она постоянно кричит от боли и зовёт сына помочь ей встать, когда ей нужно пройти куда-нибудь, а потому Женя не может отойти от неё надолго. Как-то мы сели с Женей смотреть футбол и услышали глухой удар об пол. Пошли посмотреть, что случилось: оказалось, его полупарализованная мать упала с кровати, опрокинув ночной горшок, и вся вымазалась в содержимом. Женя ругал её и бил, а она кричала, как раненая птица. Я попытался помочь, но Женя отказал мне в этом, и я ушёл.

В 1994 году 70-летний Женя похоронил свою 90-летнюю мать, которую наконец-то прибрал Бог. Самого Женю забрал в Тюмень его младший брат Володя. Мы тогда постояли у могилы его матери и у могилы Савицкого, постояли и навсегда попрощались. На прощание я подарил Жене картину «Осенний пейзаж» и пару книг. И он был рад, и я был рад тому, что смог обрадовать его. Он сейчас страдает болями в ногах, как и его

покойная матушка, и живёт без семьи и детей. Вся его жизнь прошла в служении стране и людям.

Женя Т., Алексей Квон, А. Гольдрей, Веня (который сделал себе харакири после невыносимого оскорбления) и многие другие – Великие и Безвестные поколения искренних и чистых душой мальчиков, которые пронесли сквозь жизнь веру в честь, в добро, в высоту человеческих отношений, а потому сумели сохранить Достоинство и Душу. Наверное, они умерли вовремя, – сегодняшнее время они не приняли бы, да и оно бы их не приняло.

Я подумал, когда рассматривал фотографии и слушал рассказы Нины Ивановны, что если бы стали известны судьбы и архивы миллионов безвестных людей - то ужас охватил бы страну! «Самое счастливое» общество оказалось кровавым месивом из охраняемых, охранников и осведомителей, лжецов и обманутых, хозяев и холопов - от рождения и до кладбища.

Как- то я ораторствовал перед Савицким – «Как жаль, что Сатана явился в образе гениального Ленина и превратил империю в мясорубку народов». А Савицкий горько в ответ - об убиении безвинных детей царя, за которыми гонялись по подвалам и добивали большевики, а они кричали «Мама!».

Все взаимосвязано, и нынешнее время, и прошлый ужас. Я вижу, как идёт распад страны, как извиваются в «перестройке» коммунисты, чтобы сохранить деньги и власть. Впрочем, коммунистов уже и нет вовсе, а есть КГБ в оболочке КПСС и с «чистилищем» ВЛКСМ для пропуска молодых карьеристов в сытый рай. За 70 лет власти их сердца и мозги заплыли жиром и чем выше «коммунист», тем жирнее. «Все мы родом из Октября» - они говорили нам, но мы с ними разного рода-племени.

Народ не доверяет ни КПСС, ни государству, потому что КПСС ни на йоту не кается, а валит свою вину на вождей - Сталина, Берию, Хрущёва и прочих подлецов. Я поражён сходством их злодеяний с деяниями Нерона, Калигулы и Тиберия. Но коммунисты далеко превзошли их. Римских тиранов хоть недолго терпели и скоро убивали. А наши «цари» правили десятилетиями, удерживая в покорности людей под жизнерадостную музыку маршей. «Цари» лишь поменяли вывески - «царя» на «генсека» или «президента», «Петроград» на «Ленинград» и в «Санкт-Петербург», «Российская империя» на «СССР» и опять «Российская империя», а «народ» был всегда крепостным рабом, униженным пропиской в гигантском ГосЛаге. В каком же мире будут жить мои дети? О них тревожусь.

Представил себе свой протест против этого государства - самосожжение на Красной площади. Увлёкся, по обыкновению, и расфантазировался...

## **О ВЕЛИКОМ СТАРЦЕ**

Тот, кто однажды видел извержение вулкана, тот должен описать увиденное. То же самое о Савицком. Мне бы надо было записывать за ним всё и обо всём...

Лет десять назад Арслан привёл журналистку, которая приехала из Франции и в числе своих прочих дел, хотела взять у меня интервью о Савицком, «обещала заплатить долларами» (так Арслан «заманивал» меня.) Когда они пришли, я не открыл дверь. Некрасиво, в общем, получилось. Ну, не смог я спекулировать ни на славе Савицкого, ни для отблесков на мне славы Савицкого, ни для оплаты «долларами» памяти о Старце! Да и что я мог тогда сказать, если не собрал воспоминания о нём даже для себя.



Позавчера мне приснилось, что Игорь Витальевич лежит на больничной койке, в пропотевшем стареньком трико. Я переделал его. Глаза его были закрыты. Вдруг погас свет. И он попросил меня: «Эдик, зажги для меня свет, мне темно здесь». Сказал, не открывая глаз. Лицо было такое же, каким было в последние годы его жизни – впавший рот и морщины на высоком лбу. Я включил свет, но лампочки еле тлели и гасли. Он потребовал – и постепенно лампочки стали сами светить ярче и ярче. Я сказал ему об этом, а он, не открывая глаз, сказал, что ему всё равно темно. Я проснулся и стал думать – что бы этот сон мог значить?

Пошёл к Ольге<sup>41</sup> и спросил, что может означать этот сон. Она ответила, что сон означает то, что я должен написать о нём свои воспоминания – так требует душа Савицкого. Душа, которая наполняет и движет всякого человека при жизни и покидает после смерти, чтобы навещать живых и напоминать им о себе.

Вот и начал писать, успокаивая себя тем, что «Лучше поздно, чем никогда». И, слава Богу, начало положено.



Если считать Учителя отцом духовным, как я считал Савицкого, тогда он, как бы, «внук» Художника Серова, потому что «отцом» - Учителем Савицкого был Художник Ульянов (любимый ученик Серова), а я в свою очередь, осмелюсь считать себя как бы «правнуком» Ульянова и «правнуком» Серова.

Пишу об Ульянове потому, что когда-то прочёл его «Воспоминания о Серове» и они очаровали меня любовью Ульянова к Учителю. Нечто подобное я вижу и в небольшом шедевре Исикава Такубоку «Дневник, написанный латиницей». Такая же краткость и красота текста. Эти небольшие книжицы, Ульянова и Такубоку, служат мне примером совершенства и образцом воспоминаний об Учителе.

Когда я работал и жил рядом с Савицким, то осознавал мозгами его величие, но не мог из-за молодого стремления к самоутверждению прочувствовать сердцем это величие в живущем рядом родном человечке, тщедушном, сгорбленном, беззубом, в стоптанных башмаках и потрёпанной одежде. А он всегда хорошо понимал своё значение и знал себе цену, не выказывая это знание, когда был Духовным Отцом с большой буквы для нас, сотрудников музея и художников. Он учил, пестовал и любил нас. Об этом мы говорили с Квоном, с Куттымуратовым, со Светой Турутиной, Валею Сычевой, а Лариса Штогриня начинает плакать, как только о нём заходит речь. А уж поругивал её Савицкий едва ли не больше всех. Видно приходит время, когда мы всё острее начинаем ощущать, кого мы потеряли.

---

41 Жена брата

Наверное, что-то из следующего уже опубликовано, но опуская что-то, я рискую упустить то, что неизвестно, а потому начну с детства Игоря.

Отец Игоря был сыном известного учёного филолога из Киева. О своём отце Савицкий сказал, что в раннем детстве Игоря его отец запил и оставил его с мамой в Москве. С тех пор Савицкий всю жизнь пронёс отвращение к алкоголю, но испытывал сострадание к пьющим. Сам он изредка позволял себе только разбавленное вино.

Одно из самых его ранних воспоминаний о послереволюционной Москве - это первые дни НЭПа. Игорь тогда вбежал с улицы в комнату с криком: «Мама! На улице пирожки продают!». Игорь Витальевич рассказывал, как они с мамой жил на рубль в день и поездка даже в трамвае пробивала большую брешь в их бюджете. Как смогла выжить мать в одиночку с Игорем в те голодные годы, одному Богу известно! Этот голод виден на ксилографии Фаворского «Голод», где люди растаскивают трупы павших лошадей. Об этом периоде жизни России упоминает и великий Зошенко, говоря: «Ох и голодовали же мы, хлеб был в диковинку». И хозяйка моей квартиры на Бешагаче рассказывала, что в Ташкенте в 1932 году, у театра Муками каждый день собирали и вывозили десятки трупы казахов - мужчин, женщин, детей, умерших от голода. А потом - «Хлеб появился! Хлеб появился!» - и такая наступила радость!

Евреи считают евреем тех, кто родился от еврейки. Поэтому мать Игоря, по-видимому, была еврейка, потому что Игорь в детстве прошёл ритуал обрезания по иудейскому обряду. Но сам Савицкий о своём происхождении и евреев никогда не говорил, хотя прекрасно знал еврейскую среду и культуру, но посмеивался над их строгим следованием иудейским порядкам. Например, над Фальком, который, сам смеясь, рассказал ему, что однажды он приехал в Вену, где жили его родители, которые ели только кошерное мясо, но не ели ни фруктов, ни овощей. Устав от мяса, однажды в гостях Фальк съел целый пакет горького миндаля, от чего пострадал желудком.

Говоря о евреях, Савицкий поругивал их, впрочем, как и русских, упоминая, что в послереволюционные годы, когда русские в остервенении убивали друг друга в братоубийственной войне, евреи признали новую власть как свободу от ограничений черты осёдлости и получили доступ к высшему образованию. Тогда они заполнили высшие учебные заведения и потому впоследствии составили костяк технической, научной, медицинской и художественной интеллигенции СССР.

Недавно в Ташкенте был проездом из Нукуса российский искусствовед Галеев, он собирал сведения для книги о Савицком. Арслан отвёз меня на встречу с ним на квартиру известного искусствоведа Ирины Богословской, которая показала целую полку каталогов картин ранее малоизвестных художников, которых открыл миру Галеев. Тронули тему репрессий, роль евреев в искусстве. Я мельком упомянул об отношении Савицкого к евреям. Арслан заметил тогда, что это обычное отношение к евреям русского интеллигента еврейского происхождения, вроде как у поэта Губермана.

Год назад Арслан со своей женой художницей Ольгой привёз меня посмотреть прекрасный фильм о Музее и о Савицком, снятый с помощью фонда «Друзья Нукусского музея». (Кстати, работы Ольги ценил и приобретал Савицкий, и жалел её за то, что она мало работает, потому что - «Тиран-Арслан не освобождает её от заточения на кухне и в суете домашних дел».)

После просмотра этого фильма выступили Мариника и почитатели Музея с впечатлениями от фильма. А Арслан кипятился, высказывая мне, что фильм всё подаёт в духе «холодной войны», представляет всех Художников музея жертвами советского режима, а музей - спасителем их творчества. А ведь у 90% этих художников судьбы были либо вполне или более, чем благополучными в сравнении с судьбами людей вроде наших

предков и родителей. Например, у тех же «формалистов» Ульянова, Фалька или Ставровского и спросил – «Почему на Западе не снимают фильмы о неизвестных художниках и их картинах времён французской и английской революции и после них?».

Я подумал, что музей хотя и был создан с помощью и во времена коммунистов, но это были не коммунисты, а уже советские "буржуа". И подумал ещё, что искусство, которое само приходит к политикам, становится мощным искусством (Гуттузо, Курбе), но когда политика вторгается в искусство, и то и другое отвратительно.

Не помню что Арслану ответил, но мы пришли к согласию в том, что прекрасны и фильм, и судьбы Савицкого, и художников, показанные в фильме. В заключение пошутили, что слово «desert» (пустыня) в названии фильма «Пустыня запрещённого искусства» вполне может быть прочитано как «dessert» (лакомство), и за лакомство следует не хаять, а благодарить.

Савицкий же, говоря о пострадавших в советское время Художниках, горько упоминал о том, что сами художники частенько доносили власти друг на друга. И анонимно в заявлениях в НКВД или КГБ, и прямо в открытой полемике и публикациях, где утверждали о своей приверженности к коммунизму/социализму и в не лояльности к ним своих коллег-соперников.

Да, велик всякий Художник, но слаб бывает в нем человечешко в стремлении выжить у кормушки власти, вольно или невольно отправляя «конкурента» на долгие годы в лагерь, либо ввергая его в нищету.

После просмотра фильма я хотел сказать, но застеснялся и промолчал о том, что Савицкий занимает почётное место в ряду таких путешественников, как Афанасий Никитин, как Рерих с сыновьями и женой Еленой, как все и всё в звеньях тяги России к великому Востоку. Кроме того, Игорь Витальевич был не только собирателем картин, как это было представлено в фильме, но и тончайшим русским живописцем Востока, как и великие Художники Павел Кузнецов, Мартирос Сарьян, Кузьма Петров-Водкин, Истомин, Фальк, Фаворский и пр.

### **ЖИВОПИСЕЦ САВИЦКИЙ**

Живопись Савицкого грандиозна, потому что не теряется в громадах любых залов, как это случилось в московском музее им. Пушкина, где была выставка работ Савицкого. Мариника тогда удивлённо и точно заметила: «Смотри Эдик. Его картины скромные, но здесь не потерялись».

Где-то я встретил даосскую мысль, что величайшее искусство граничит с Не-Искусством, с безыскусностью, со смирением и глубокой скромностью и вспомнил Эльмиру Газиёву, которая сказала мне как-то: «У тебя картины какие-то протокольные, наподобие картин Савицкого». Она, наверное, сравнивала наши работы с эпичными работами Рыбникова, Волкова, Михаила Ксенофонтовича<sup>42</sup> и Тансыкбаева. Да, в их контексте Савицкий смотрится наивно влюблённым в природу, очень точно передавая её малейшие переливы света и формы. Вот эту влюблённость в точность Эльмира назвала протокольностью. И мне казалось в юности, так же, как ей. А ведь живопись Савицкого это невероятная точность в любви к природе и в этом прелесть искусства вообще. Очень легко фантазировать по поводу цвета и формы. Это довольно легко делается, в этом очень легко обмануть, но и обмануть себя. А в искренней любви не обманешь и не обманешься.

---

<sup>42</sup> Соколов.

Савицкий сложился как художник в предвоенные годы. Это было время АХРРа<sup>43</sup>. Он учился искусству у Истомина, у Ульянова и у Фалька. Как-то раз, читая при мне книгу с теоретическими работами художника Истомина, он заметил с сожалением, что не слышал, когда учился у Истомина то, что тот написал в своих книгах. И Игорь Витальевич посетовал (по-моему, напрасно) что недостаточно был обучен рисунку, хотя учился у прекрасных рисовальщиков. Потом заметил, что рисунку всё же можно научиться, но главное стать личностью в искусстве и привёл высказывание Фалька: «Я не могу научить только тому, что делает художника художником – Личности».

В искусстве важен прецедент, опора на предшественников. Одним из предшественников для Савицкого стал его любимый Художник Александр Андреевич Иванов, создатель великой русской евангелистской картины «Явление Христа народу». Особенно Савицкий любил подготовительные этюды Иванова к этой картине - пейзажи римской Кампаньи и неаполитанские пейзажи. Савицкий рассказывал: «Иванов в этих пейзажах изучал природу, смиренно и любовно следуя ей. Писал он этюды на плотной хорошей белой бумаге, слегка проклеенной рыбьим клеем. Краски он использовал масляные, но жидкие, не пастозные».

Он вспоминал панорамные пейзажи Иванова и сам писал такие же пейзажи размером 10 см на 100 см., которые художница Альвина Шпаде шутливо назвала как-то «макаронами». Смотря на далёкие горы Каратау, Савицкий говорил об итальянских подготовительных штудиях Иванова к его великой картине «Явление Христа народу» и повторял: «И здесь можно создать смиренное, скромное и в то же время великое искусство».

Раннюю живопись Савицкого в Каракалпакии напоминают только две картины. Одна из них написана в стиле мастеров малых голландцев. Эта прекрасная и маАстерская работа изображает внутренность кладовки со съестными припасами, мешки, тыквы, овощи. А вторая картина, тоже в тёмном колорите, изображает юрту<sup>44</sup>, стоящую внутри двора.

Он писал исключительно на фабричных холстах, наклеенных на картон, которые ему специально готовили в Москве и всё сетовал, что оказался вдали от московских подрамников и холстов. Иногда он сам наклеивал холст на картон и старательно готовил его для живописи, потому что стремился к долговечности хранения картин. На ощупь его картины обильно покрыты гладким лаком, который Савицкий тщательно полировал пемзой, песком или тонкой наждачной бумагой до перламутрового блеска. А когда мы были на этюдах и он видел мои холсты и картоны, то попрекал меня в их небрежной подготовке.

После-московские картины Савицкого располагаются по сериям. Во-первых, пейзажи и виды замков, крепостей и городищ Древнего Хорезма времён его участия в археологических раскопках Хорезмской экспедиции. Это самая большая серия картин. В них Савицкий стремился запечатлеть с научной точностью красоту городищ и замков Древнего Хорезма, которые несколько веков были погребены под золотистыми песками пустыни после разрушительного нашествия Чингиз-хана.

Савицкий очень любил писать виды пустыни с силуэтами средневековых замков и городищ на горизонте, кусты тамариска и саксаула, а ранней весной позеленевшую и цветущую пустыню. Он часто сравнивал колорит Каракалпакии с колоритом и природой Испании, такую же песчаную и сухую.

---

43 Ассоциация художников революционной России.

44 Войлочное жилище кочевников

Савицкий избрал для себя в начале пятидесятых годов, когда впервые приехал в Каракалпакию, скромное, искреннее и простодушное следование природе. Он был счастлив тем, что открыл здесь для себя обилие солнца, смиренную красоту пустыни, и такую же смиренную и простую душу каракалпаков, разглядев её в тонком колорите их вышивок.

Тогда он себе признался, что прежние навыки живописи его московского периода стали здесь непригодны. И Савицкий как Художник совершил подвиг. Он полностью сменил палитру цветов и в корне сломал свой прежний стиль. Я представляю себе – как ему было невероятно трудно переламывать себя в импрессиониста из убеждённого классициста лаковой живописи в стиле социалистического реализма художника Лактионова. В итоге, Савицкий выбросил из палитры тёмные краски московского периода и прорвался в импрессию света и цвета азиатской пустыни. А из всех импрессионистов Савицкий выше всех ценил скромного и тончайшего живописца Альфреда Сислея.

Потом Савицкий начал писать сельские пейзажи Каракалпакии: - дороги, деревья, поля. Они очень тщательно выписаны и мастерски выполнены по стилю и исполнению. Но их немного.

Затем Савицкий писал виды нукусских улиц, газонов в цветники. Среди них трогательная картина - дети под деревьями в детском саду.

Затем Савицкий написал серию пейзажей с изображением камышовых домов, каналов и озёр в устье Амударьи и Казакдарьи.

Затем особняком стоит серия картин с изображением древней Хивы (Ичан-калы, которая до сих пор сохранилась как город-музей). Среди этих картин виды улиц Хивы с крыши дома, в которой он снимал комнату у местного аксакала.

Говоря о природе Каракалпакии, он сказал, что и в Ташкенте, и в Самарканде красивая природа. Но другая. В Каракалпакии всё тоньше, камернее. Говоря об Ичан-кале, мы вспомнили старую Бухару и старый Самарканд. Я сказал ему, что ещё в 1968 году застал базар с грудями сена и соломы, ослов, баранов и верблюдов в самом центре старой Бухары, у минарета Калян. Стены Арка и дворца эмира были тогда из древней пахсы. Город как был застыл в веках и его древность только подчёркивала молодая жизнь, которая бурлила среди древних памятников. Тогда Савицкий сказал мне с горечью, что древняя Бухара разрушена и уничтожена. Теперь это мёртвая декорация былой красоты и поэзии живого средневекового города с его кварталом бухарских евреев, которые жили там со времён Вавилонского пленения в шестом веке до нашей эры и которые переселилась ещё при царице Эсфири на дальнюю окраину Персидской империи.

Говоря, что древний город разрушен, Савицкий имел в виду, что разрушение началось ещё со времён изгнания большевиками Бухарского Эмира в Афганистан. Он говорил, что в годы войны художники, находясь в Бухаре в эвакуации, застал Бухару как город из сказок «Тысячи и одной ночи». Это настроение сказки чувствуется в картине Роберта Фалька - молодая горожанка на фоне сюзане, которую Савицкий писал рядом с Фальком. Савицкий говорил, что найти женщину для позирования художникам в той мусульманской Бухаре было для него очень не простым делом.

Когда я спросил как-то Игоря Витальевича, каков был Фальк в общении, был ли он гордым? На это Савицкий ответил мне, что всякий Художник прекрасно знает себе цену и ставит себя выше своих коллег-современников. Но Савицкий высоко ценил Фалька, как художника. А Фальк, тогда, в Бухаре, пренебрежительно отозвался о живописном даре Савицкого, вернее, о его бездарности. Но у каждого художника свой голос, своя мелодия. Такую свою мелодию и оставил Савицкий в живописи.

Вспомнилось, как в 1980-м году, в канун Нового года я был в мастерской у известного художника Славы Ахунова. Поскольку они меня считали учеником Савицкого, то заговорили о нём. Бахадыр Джалалов задумчиво сказал, что в экспозиции Ташкентского музея искусств на втором этаже висит маленький этюд Савицкого «Цветущая пустыня». На переднем плане прохладная голубоватая тень под кустами, а над кустами - кусочек неба. Живопись тонкая, очень нежная. Бахадыр сказал, что он так восхищается этим небольшим этюдом Савицкого и так высоко его ценит, что ставит выше многих помпезных академических и парадных картин Ташкентского музея искусств. Он назвал этот этюд пустыни гениальным по лиризму и красоте. Я тогда поразился и тонкому вкусу Джалалова, и его искреннему восхищению этюдом Савицкого. Ведь художники обычно ревностно относятся к работам коллег и редко восхищаются ими.

### **«ПО ДВОРАМ И ДОМАМ – НЫНЧЕ ЗДЕСЬ, ЗАВТРА ТАМ»<sup>45</sup>**

Быть может, вторя уже известному, но напишу, что Савицкий собирал работы «в подворном обходе» художников и/или их наследников. Этому методу коллекционирования он последовал после уроков этнографа Татьяны Жданко в подворном сборе предметов народно-прикладного искусства Каракалпакии. Оценив значимость этой коллекции для истории культуры народа, его вожди приняли решение о создании музея прикладного искусства Каракалпакстана. В этот музей Савицкий начал собирать, но уже предметы изобразительного искусства, на свой страх и риск закупаая работы художников на средства, которые выделялись для покупок предметов народного прикладного искусства.

Первое, что сделал Савицкий - он собрал в свой Нукус почти всё ценнейшее из живописи Узбекистана двадцатых - пятидесятых годов. Это, прежде всего, работы Александра Волкова, почти все работы Михаила Курзина, ранние работы Урала Тансыкбаева, Подковырова, Николаева (Усто-Мумина), раннего Уфимцева, Елены Людвиговны Коровой и Карахана. Затем, оттолкнувшись от российских корней этих художников, он начал собирать работы российских забытых, непризнанных или не «пробивных» художников первой половины двадцатого века. В сборе этой коллекции картин ему помогли советы художницы Ирины Жданко<sup>46</sup> и её мужа художника Крамаренко, которые направили его к тем или иным художникам или к их наследникам, от которых Савицкий пошёл далее.

В коллекционировании картин у Савицкого была очень важная особенность – он стремился собрать все работы художника в ретроспективе, и, главное, с раннего периода творчества. Он всегда повторял, что музей это не выставка и не склад, а научное учреждение, где художники, учёные-искусствоведы, историки, должны изучать жизнь и творчество художников не на пике их славы, а от первых работ и в последующем развитии, как часть развития культуры народа.

Игорь Витальевич рассказывал о художниках, чьи работы он собирал, не только как о Художниках, но как и об обычных людях.

О своём учителе, Ульянове, он говорил без слова «был» (переводя с трудом дыхание, уже тогда у него начли отказывать легкие): - «Художник большой.. культуры, рисует блестяще... Настоящий аристократ... - в лучшем смысле... этого слова... В нем есть... цельность и целенаправленность..., несмотря на невзгоды.... В Самарканде..., во

---

<sup>45</sup> Реминисценция к популярной песне 1950-х годов неизвестных авторов

<sup>46</sup> О сестрах Жданко замечательно написал В. Германов в статье «Сестры Жданко Эрминия, Ирина, Татьяна. Историсофский триптих». <http://mytashkent.uz/2015/04/27/valerij-germanov-sestry-zhdanko-erminiya-irina-tatyana-istoriosofskij-triptih-ili-dekonstruktsiya-mifa/>

время эвакуации..., он, страдая... астмой, не мог... сделать и шага... без нитроглицерина..., но трепетно... ухаживает за женой..., Анной Семёновной..., которая душевно больна.... Сейчас... часть работ... Ульянова у Киры... Киселёвой.... К Кире... работы Ульянова... перешли в наследство... от сестры жены... Ульянова, Варвары... Яковлевны... Я и сам учился... у Ульянова и у этого ...Фалька».

Игорь Витальевич с восторгом говорил о Редько и упоминал, что тот уехал во Францию в 1926, вернулся в 1935-1936 году, был исключён из Союза Художников в 1946 году за то, что кто-то из художников обвинил его в том, что он учился во Франции «искусству буржуазии».

Как-то Игорь Витальевич взял меня на встречу с вдовой Уфимцева, они растрогались, расцеловались, прослезились. Я удивлённо смотрел на сухие гроздья винограда в мастерской Уфимцева и вдова, (сестра Усто-Мумина, он же художник Николаев) рассказала, что Уфимцев увешивал мастерскую кистями винограда, а когда они высыхали - заменял свежими кистями. И рассказала, как она сидела (случайно ли?) на обычном пути Уфимцева на этюды, и загадала - кто первый появится, за того и выйдет замуж. Так и случилось.

Несмотря на аскетизм Савицкого по отношению к жизни и к искусству, о широте его взглядов говорит почти анекдотический пример. При осмотре наследия художника Ставровского мы увидели папку эротических рисунков. Но там была далеко не эротика. Это были рисунки разнузданных деревенских оргий. Савицкий сказал, что эти рисунки пока невозможно показать кому-либо, но они исполнены с такой блестящим мастерством, что их необходимо приобрести в Музей. Рисунки он спрятал, но коллектив музея, включая женскую его часть, рассмотрели их, но, конечно, только с научным интересом.

Рассказывал Савицкий и о Курзине, которому я должен был отдать полжизни, чтобы написать книгу и со студенческих лет собирал сведения о нём. Наверное это намерение пришло после того, как однокурсница Анна, когда нашу группу направили из института на сбор хлопка, сказала, что её отец считает важным, чтобы кто-то написал биографию Курзина и рассказала со слов своего отца: «Курзин в числе других художников писал по заказу портреты советских вождей, Ворошилова и др. В комиссии по приёму портретов были важные люди из «компетентных органов». Один из них, самый надутый и «компетентный» сделал замечание, мол, не теми красками написаны волосы. На что Курзин резко ответил, что каждый должен заниматься своим делом и, чем писать под указку, то лучше вообще не писать. Тот внёс в протокол, что Курзин заявил: «Портреты вождей вообще не следует писать!». Затем составил коллективный донос, под которым заставил подписаться (угрожая арестом) знаменитых, но покойных сейчас художников (Т. и К.), поэтому не привожу полностью их имена, и сказал с издёвкой - «Пусть теперь Курзин занимается «своим делом» в лагере».

Особенно я «прикипел» к Курзину после поездки с матерью на свидание с младшим братом Витей в одно из мест его заключения, в г. Навои. Повидались с Витей. Жили сутки в комнате свиданий, он не спал ни часа. Мама страдала, Витя страдал, я страдал, но всем надо было держать себя в руках, не расстраивая друг друга. Обратное возвращались ночным автобусом «Бухара–Нукус» через Кызылкумы. Мать заснула в слезах на моём плече. Ах, эти мучительные поездки с матерью или Арсланом на свидания с Витей! Чёрные колонны заключённых, плетущиеся в чёрные цеха, ужас, который до сих пор томит меня...

Судьба Курзина трагична из-за его честности, бескомпромиссности, прямооты и смелости. В истории искусства нет другого такого случая, чтобы гениальный художник был вырван государством из творчества на 19 лет.

Савицкий сожалел о том, что Курзин был так не сдержан на язык. Он или Альвина Шпаде рассказывали, за что арестовали и осудили в первый раз Михаила Курзина. На какой-то выставке Курзин выпил лишнего и заявил: «Этот, как там его, развесил свои жидовские сопли». По этой ли причине или по другой, но кто-то донёс на Курзина, что он «империалистический шпион». Курзин действительно, в 20-е годы был в Китае, но скорее всего, поводом к аресту Курзина было то, что он был в Крыму, в «гнезде контрреволюции» гражданской войны. А когда он был осуждён на поселение в Бухаре после того случая с портретом одного из «вождей», добавили ещё 10 лет заключения. В том числе из-за речи на базаре, когда он, крепко выпив после очередного своего скандала в Союзе художников, на базаре призывал недоумевающую толпу мусульман изучать великую культуру Запада и заявлял – «Я не собираюсь бороться за социализм, где не будет свобод, даже буржуазных».

Когда я был в ташкентском музее искусств, то видел несколько работ Курзина, но почему-то без этикеток с его фамилией. Кажется, что Курзина до сих пор замалчивают. Написана ли о нем монография? Кстати, в монографии искусствоведа М. В. Мюнц об искусстве Узбекистана нет ни одной репродукции Курзина и ни одного слова о нём. А ведь Курзин был одним из основателей Союза художников Узбекистана. Впрочем, возможно, что советская цензура не пропустила упоминание о Курзине.

Если кто-то начнёт писать книгу о творчестве Курзина, то её можно разделить на 3 периода и согласно им строить композицию книги. Первый период до каторги - работы маслом и гуашью. Очень и очень дерзко написаны «Бай агитирует», «Чайхана», «Старое и новое», «Базар» и так же дерзко исполнен рисунок «Портрет узбека». Второй период, на каторге – картины «Эмигранты», «Поэты». Третий период, после каторги - натюрморты и портреты. Все работы написаны очень энергично, а la prima, с божественным ощущением цвета – это картины «Лепёшки», «Море» и «Окно», которое навевает покой, просветлённость и лёгкую грусть. Несмотря на перенесённые страдания, поздние натюрморты Курзина жизнерадостны. Мало кто из художников изображал еду, фрукты, овощи с таким вожделием. Это и понятно, после скудного пайка зоны.

В работах Курзина позднего периода (1956-1957 год) чувствуется потрясающая экспрессия («Натюрморт с лещом»), а в портретах стариков и старух из дома престарелых - любовь к людям, которых не пощадило время. (Надо бы найти тот дом престарелых, может быть его сотрудники что-то помнят о Курзине или сохранились у кого-то его работы).

Работы современных художников Савицкий приобретал, но редко. В канун одного Нового года я был в мастерской художника Славы Ахунова, где были знаменитые скульптор Дамир Рузыбаев и живописец Бахадыр Джалалов. Бахадыр писал этюд на небольшом картоне. Слава брэнчал под джазовые пластинки на банджо, на котором играл когда-то в ресторанах в России. Колорит этюда Джалалова был серебристо-синий. В его основу был положен прекрасный карандашный рисунок Ахунова, собака в ночном дворе со щенками у вымени. Через некоторое время в мастерской появился Савицкий. Он приехал в Ташкент по делам, зашёл ко мне домой, где ему сказали - где меня найти. Савицкий тогда, просмотрев рисунки Славы Ахунова, приобрёл их в музей. Рисунки были очень хороши.

Дамир Рузыбаев был в той же мастерской и упросил Савицкого позировать ему. Мы все пошли в мастерскую Дамира, которую украшала огромная картина старшего Волкова - девочки в национальных ярко-красных нарядах. В течение пары часов Дамир мощно и экспрессивно вылепил голову Савицкого в сером шамоте, пока Савицкий просто стоял и о чем-то оживлённо беседовал с кем-то. Дамир отлил эту голову в бронзе, она сейчас в экспозиции Нукусского музея.



Дамир Рузыбаев был однокурсником Саши, младшего сына Александра Волкова по художественному училищу им. Бенькова. Почему я вспомнил Сашу? Он создал памятник художнику Саипову, другу Савицкого. Бюст Саипова с палитрой в руках обращён лицом к востоку, встречает восход, а мальчик, работы Рузыбаева, на надгробии Савицкого провожает солнце на запад.

Художники гордились Кдырбаем Саиповым, потому что он был первый каракалпакский художник, а ещё и потому, что правительство выделило ему как Художнику автомобиль для покупки – тогда это было признание повыше, чем орден.

К несчастью в этом автомобиле Саипов погиб в катастрофе. Траурная процессия протянулась почти по всей улице Калинина. Стояла поздняя осень. Было пасмурно и грустно. Савицкий шёл в толпе, горестно опустив голову. Саипов был с Савицким на «ты», и так же как и скульпторы Атабаев и Куттымуратов. И больше никто, насколько я помню. Об отношении Савицкого к Саипову как к другу и к коллеге, может говорить то, что Игорь Витальевич не мог и слова выговорить по-каракалпакски, но выучился говорить два слова: «Кдырбай бар ма?», так Савицкий по телефону часто спрашивал жену Саипова: «Дома ли Кдырбай?»

В середине 70-х годов Савицкий купил работы современных живописцев - Владимира Бурмакина, Евгения Мельникова, Юрия Талдыкина и несколько работ старшего Зильбермана. Но потом, когда начались у музея финансовые трудности, жалел, что купил слишком много их работ. Да, эти работы выбиваются из концепции Нукусского музея и я не помню, чтобы они выставлялись в экспозиции музея. Тем не менее и на мой взгляд, Савицкий не ошибся - эти художники представляют собой особый этап в живописи Узбекистана шестидесятых годов как аналог «сурового стиля» российской живописи. Их работы важны для понимания логики истории живописи Узбекистана. В этих работах есть мощь, брутальность и маньеризм, чего недоставало в коллекции нукусского музея. Может быть, кто-то ещё соберёт работы годов забытых художников Узбекистана и создаст нечто вроде Музея искусств конца XX-го и начала XXI-го веков.

В выборе картин Савицкий мало обращал внимания на метания художников в поисках формы, потому что искал проявления и продолжение традиций предшественников. И постоянно внушал мне, что новые поколения художников, оторваны от вековых корней культуры, а потому зачастую «изобретают велосипед» вместо того, чтобы изучать искусство предшественников в музеях и далее создавать, но своё, новое и значительное. О недостатке культуры он часто и настойчиво повторял и художникам в Нукусе, что вызывало у них порой раздражение. Тем не менее, они собирались в 50-е и 60-е годы в только что открытом Музее, ставили натуру, рисовали, общались. Савицкий уже тогда утверждал, а не мечтал, что его Музей высоко поднимет искусство и культуру каракалпаков, но, конечно, не скоро, потому что культура и мастерство возвращаются из поколения в поколения, и приводил в пример каракалпакских мастеров и мастериц прикладного искусства.

К современной живописи Савицкий относился скептически и считал, что сейчас нередко пишут в стиле 20-30-х годов, но неискренне, а потому ложно. Он говорил: «Художник должен обращаться к реальной жизни, которая непосредственно вокруг него, а не парить в облаках «философствований», высосанных из пальца». Говорил он это, приводя как обратный пример - работы каракалпакских художников, например, работы забытого нукусского художника Петропавлова - «В нем есть Божия искра и она позволяет ему создавать тонкие вещи. Очень хороший художник, но сейчас пьёт и пишет ли?». Отмечал и работы Утегенова, Худайбергенова, Серекеева и Еримбетова: «В их работах есть Каракалпакия и её душа». Работы каракалпакских художников он рассматривал с точки зрения выражения только Каракалпакии, её природы и духа и критиковал другого

рода работы - «Такие вещи могут быть где угодно - в Африке, в Австралии и т.д. Но это не Каракалпакия!»

Не хочу, но вспомню, что когда Савицкий говорил это, к нему подошёл прилипчивый тип с блестящими розовыми губами навывкате и с неизменным портфелем «важного начальника». Пишу о нем только для того, чтобы подчеркнуть разительный контраст между К. и Савицким в отношении коллекционеров к искусству, к художникам и к своей личной славе. Этот тип так и сверлил глазами картины у стены, принесённые художниками для закупки в музей. Игорь Витальевич после его ухода поделился со мной: «Он просил работы самодеятельных?! каракалпакских художников для выставки его личной галереи?!». Позже я узнал, что это был К., который не найдя себя на писательском поприще в газетных опусах о Каракалпакии, решил, подражая Савицкому, увековечить себя в личной галерее «НИКОР», для которой выпрашивал работы доверчивых художников, обещал выплатить за работы деньги, но «пропадал» и не отвечал на мольбы художников об оплате или возврате их работ. Где-то о нём отзываются сейчас как о «журналисте-писателе-художнике-меценате». (Как-то я встретил его сына на ташкентском «Бродвее», который продавал свои чудные рисунки и рисовал шаржи желающим гулякам. Пару рисунков он мне подарил и обмолвился: «Отец меня забыл... Впрочем, таких как я, забытых им детей, у него много»). Этот К. выставлял на выставках работы художников, не указывая их фамилии на картинах и в каталогах, как, якобы, свои, либо раздавал не покупаемые из них картины в различные галереи для саморекламы «мецената». Где сейчас работы тех художников и, главное, где их имена и память о них, которые К. бросил в подножье пьедестала своей «славы»?

Осенью 83 года Савицкий уже не мог вставать и все к нему приходили попрощаться перед его поездкой на лечение в Москву. Приходил прощаться и его любимец - Алексей Квон, принёс рыбу. (Для меня это было как евангелический Символ - подношение Учителю.) Квон тогда мне горько сказал, что Савицкий сгубил свои лёгкие парами формалина, в которых кипятил ювелирные изделия, чтобы привести их в надлежащий для экспозиции вид.

Савицкого пригласил лечиться в Москве его почитатель, академик Ефуни. Он тоже коллекционировал живопись и графику. Помню, как он приезжал с женой в Нукусский Музей. В хранилищах фонда не было электричества, поэтому я во дворе музея показывал им графику московских художников, которой они восторгались.

За пару дней до отъезда в Москву, Савицкий решил взять меня с собой, убедив, что ему в Москве нужен помощник. А ехать должна была Фарида Маджитова. (Она и её сестра были старейшие и преданные Музею работники.) Кроме того, Игорь Витальевич считал, что мне будет сподручнее за ним ухаживать в московской больнице, как когда-то в нукусской, а так же таскать и возить из Москвы в Нукус картины. Наверное, он догадывался, что ему осталось немного жизни, потому что сказал, что мой долг быть рядом с ним до конца. Я не верил в его конец и думал, что он таким образом уговаривает меня ехать с ним. Кроме того, я очень не хотел отрываться от живописи, к которой наконец-то дорвался во время короткого перерыва в музейной работе.

8 октября 1983 года мы отправились в Москву. Академик Ефуни работал в Центре гипербарической оксигенации, при Институте хирургии, неподалёку от Новодевичьего кладбища. В этом Центре больного помещали в барокамеру и под давлением подавали кислород, которого недоставало пациентам. Савицкий приёлся для этой поездки в купленный для этого случая единственный костюмчик. В аэропорту нас встретил один из врачей Центра академика Ефуни. Ехали на «Жигулёнке». Савицкий, пока ехал, чтобы выразить благодарность врачу за его внимание, восхищался его машиной, расспрашивал о ней, говорил, что его машина очень вместительная и тем самым похожа на «Волгу».

Приехали в центр, устроили Савицкого в одноместную палату на 3-ем этаже. Ефунти встретил меня тогда тепло.

Чаще всех в той палате я видел Ирину Коровай. Она почти через день приносила Игорю Витальевичу еду, различные книги по искусству, альбомы. Обычно она сидела на стуле слева от Савицкого, Савицкий лёжа в постели, просматривал репродукции, и они о чём-то беседовали.

Савицкий лечился, я же старательно исполнял его поручения, записывая их в записную книжку или храня в ней его записки. После выполнения поручений ехал к нему отчитываться. Раза два он и сам выходил из больницы, когда его состояние становилось лучше.

После моих отчётов мы беседовали с Савицким на разные темы и я, иногда срывался в полемику с ним, впадая во «вьюношеское» самоутверждение. Как-то в квартире Ирины Коровай Савицкий любовался и восхищался альбомом Модильяни. А я был под впечатлением от выставки немецких экспрессионистов в музее Пушкина, где были выставлены Шмидт-Ротлуфф, Нольде, Фон Явленский, Кандинский, Франц Марк, и сказал, что Модильяни слишком манерный художник. Савицкий ответил: – «Дурачок ты и ничего не понимаешь, это гений!». Он был прав и в том, и в другом. Да я и сам видел в части портретов, которые я писал, невольное влияние работ Модильяни.

Той осенью и зимой 1983-1984 г. я жил сначала в гостинице «Колос», недалеко от ВДНХ. Но проживание в гостинице стоило дорого и меня, по просьбе Савицкого, пригласила гостевать в доме Фаворского художница Ирина Коровай, ученица художника Фаворского. Зимой я жил в квартире Голицыных, где кроме самого Иллариона Голицына, жила его дочь Катя и её молодой муж Григорий Потанин, потомок великого исследователя Азии - казака Потанина, который был другом Достоевского и Чокана Валиханова.

Ирина жила на третьем этаже в маленькой комнатке мансардного типа, которая служила ей и мастерской. В этой же комнатке жила Савицкий в прежние свои приезды в Москву, когда мы обходили художников в поисках работ для музея. Тогда, выбирая работы для Музея, Савицкий советовался со мной. Я думал, что он делает вид, что советуется, чтобы я так не робел перед корифеями, но потом понял, что он меня так натаскивал, как опытный охотник начинающего напарника.

Так было, например, когда мы тогда выбирали работы у престарелого Шугрина (любимый ученик великого графика и живописца Михаила Ксенофоновича Соколова). Шугрин жил в новом московском квартале в очень тесной однокомнатной квартире, которая была забита стеллажами с его картинами и скульптурами. (Мне запомнился его телефон со световым сигналом – Шугрин был глуховат). Шугрин показывал каталоги своих выставок в Нью-Йорке, которые устраивали его ученики. Рассказывал о Соколове, своём учителе. Я его благоговейно слушал, пока Савицкий просматривал работы Шугрина.

Так было и когда мы выбирали работы у Алисы Порет. Она была уже в почтенном возрасте. Мне запомнились в квартире старинная кушетка и ученица, лет сорока, для которой Порет ставила натюрморты. Расположение предметов было весьма необычное, как бы «естественной непоставленности» в растянутом пространстве без классического центра композиции. (Позднее я пробовал писать такого же рода натюрморты.) Мы выбрали несколько работ Порет в музей, в том числе известные её работы, посвящённые Баху.

И Шугрин и Алиса Порет разрешили выбрать только определённое количество картин. Иначе Савицкий увёз бы все.

И вдова Роберта Фалька тоже предложила Савицкому выбрать только определённое количество работ Фалька. Он выбрал самые лучшие работы из почти всех периодов его творчества, начиная с учебных работ в Училище и вплоть до последних работ, через парижский и самаркандский периоды. Савицкий выбрал даже работы Валерия, сына Фалька, - ночные пейзажи улиц Парижа с фонарями. Возможно, для того, чтобы в его творчестве видеть отражения творчества его отца. Валерий, когда был с отцом во Франции не захотел остаться там, вернулся в 1939 и погиб в войне 41-45 годов. Если не ошибаюсь, на той войне погибли и оба сына Владимира Андреевича Фаворского, Никита и Дмитрий. Первый - в московском ополчении в битве под Москвой осенью 41 года, второй был офицером-артиллеристом и погиб в 44 году.

У Киры Киселёвой, ученицы и правонаследницы Ульянова, Игорь Витальевич приобрёл много работ Ульянова - небольшие портреты его жены Глаголевой-Ульяновой. Портреты очень точно передают душу их героев, как и в портретных работах его учителя, Серова. Приобрёл Савицкий и множество деревенских дореволюционных пейзажей работ самой Глаголевой-Ульяновой. Манера этих пейзажей напоминала манеру живописи Ульянова - густая пастозная живопись на картоне, бумаге или небольших холстах.

Савицкий договорился с Кирой и о приобретении в свой Музей огромного холста Ульянова - изображение шествия пожарников с золотыми трубами в дореволюционной России. Этот холст мог стать одной из жемчужин Музея, вокруг которой была бы представлена вся живопись и графика Ульянова. Но Кира передумала и продала «пожарников» в ленинградский Русский Музей. Я так думаю потому, что там предложили больше денег, чем мог Игорь Витальевич, либо Нукус показался Кире слишком глухой «дырой» для этой картины в сравнении с Русским музеем. Савицкий огорчился настолько, что послал меня к Киселёвой, в квартиру, где когда-то жил Ульянов, чтобы я забрал работы и вещи Савицкого, что было символом разрыва отношений с Кирой.

В комнате Ульянова на мольберте был установлен знаменитый его рисунок - сидящий за столом юный кудрявый бог, Пушкин. Кира провела меня в очень узкую комнату через высокий и похожий на длинный пенал коридор, с оконцем в конце. Я собрал работы Савицкого, а Кира сказала: «Прошу забрать и эти рамы, они тоже принадлежат Игорю» и указала на несколько добротных дореволюционных рам, к которым прикасалась рука Ульянова, а, возможно, и самого Валентина Серова. Рамы и теперь у меня. Я их храню, как хранят в музеях подлинный сюртук Пётра Великого, трость и перстень Пушкина.

Савицкий остался в больнице, а я должен был ехать в Нукус, везти в туда связки русских икон. Они были, видимо, последним прижизненным приобретением Савицкого. Иконы были переданы в музей по распоряжению Маргариты Трусковой, заведующей отделением музеев в Министерстве культуры СССР или РСФСР. Думаю, она была одним из наиболее деятельных покровителей Савицкого и его другом. Её помощь в становлении нукусского Музея была бесценна.

К ней и в реставрационное Училище памяти 1905 года я носился с бумагами, которые были необходимы для передачи этих икон в Нукус. В училище 1905 года я получил у завуча, Владимира Ильича (фамилию не помню) большое количество отреставрированных икон XVIII-XIX веков, упаковал их в клеёнку, купленную в хозяйственном магазине на Таганке, перевёз сначала в дом Фаворского, а оттуда на грузовом такси на Казанский вокзал. Там с помощью носильщика, как обычно было тогда - татарина, втиснул все эти сокровища в одно купе. Купил все четыре места, несмотря на то, что в кассе мне сказали, что билетов нет. После чего Савицкий написал начальнику Казанского вокзала записку таким слогом времён гражданской войны, что начальник вокзала опешил и посодействовал.

Уже тогда в России начался бум интереса частных коллекционеров икон и, скорее всего, М. Трускова решила передать их Савицкому, будучи уверенной, что он сможет их сбечь в Музее как святыни Русского религиозного искусства. С ними и другими картинами я и уехал в Нукус. После моего приезда в Нукус Савицкий звонил из Москвы и ругал нас за то, что мы ему, якобы, не сказали об отказе министра культуры Каракалпакии оплатить иконы. Отругал Валю Сычёву и меня: «Эдик ничего не говорил мне об оплате». «Выкручивался» как мог, Старик, когда не хотел возвращать приобретение, но не мог и оплатить.

## **ЛЮБИМАЯ АРХЕОЛОГИЯ И НЕНАВИСТНОЕ ДИРЕКТОРСТВО**

Когда я только ещё родился, Савицкий уже работал в 53 году художником в Хорезмской археолого-этнографической экспедиции С. П. Толстова. Милица Измаиловна Земская рассказывала об экспедиции и Савицком, а так же упоминала его в своей книге «Время в песках». В ней образы Савицкого и участников экспедиции, как мне кажется, искажены в пользу эстетствующей художественности, но в ущерб историчности. Она была в те первые годы экспедиции юной девушкой и возможно это оправдывает это стремление к эстетству.

Интересна предыстория той Хорезмской экспедиции. Как рассказывал папа (Емберген-ага), возможно, со слов своего приятеля Д. Насырова или со слов его жены (дочери С.П. Толстова): - в конце войны английские археологи обратились к С. П. Толстову, вернее через него, к Сталину с просьбой разрешить раскопки на территории Хорезма, где ещё до войны начал свою работу Толстов в первой своей Хорезмской экспедиции. Возможно, что на стремление английских археологов оказало влияние то, что в Британском музее хранится археологическая находка «Золото Амударьи», но не хорезмское. Английские археологи, как мне кажется, хотели найти такое же золото Амударьи, но в Хорезме. Им было отказано. Тогда они подчеркнули, что готовы финансировать экспедицию и наемкнули на то, что в стране, мол, нет денег на роскошь и излишества вроде археологических экспедиций. Действительно, в стране был голод и разруха послевоенных лет. В пику ли англичанам или в надежде на ценные находки Сталин велел выдать огромные деньги на экспедицию, в которой, как говорил папа, были даже свои самолёты и впервые в мире были применены аэрофотосъёмки для археологических изысканий. Эти фотосъёмки обнаружили целую страну с множеством разрушенных крепостей и огромной ирригационной сетью между ними.

С этой экспедицией приехал художник Савицкий и брат Толстова, тоже художник. Савицкому было тогда тридцать пять лет. Он был в самом расцвете сил и таланта. Пред ним открывался древний Хорезм, пробуждаемый от векового сна могучими усилиями великого Толстова с когортой преданных ему учеников - Юрий Раппопорт, Лапиров-Скобло, Виноградова, Елена Неразик, этнографы Татьяна Жданко, Л. С. Толстая (дочь С. Толстого) и прочие «Птенцы гнезда Толстова», как называл их Савицкий.

Порядки в послевоенной экспедиции были вполне «военные», вплоть до наказаний за минутные опоздания на работу. Исключением из военных правил было одно - Толстов установил в экспедиции «сухой закон». За нарушение этого закона следовала «высшая мера» наказания - виновного навсегда исключали из состава экспедиции. А желающих работать в экспедиции было очень много среди столичных и питерских любителей путешествий, даже среди тех, кто не имел отношения к археологии.

В экспедиции Савицкий делал тушью и карандашом зарисовки результатов раскопок. Он, не имея навыков в зарисовках археологических находок, учился умению передавать в рисунке объёмные детали археологических памятников, передавать конструктивно их формы. И пришёл к этому мастерству. В томах Трудов Хорезмской

экспедиции есть замечательные рисунки пером Савицкого. Лёгкое перо точно показывает объёмные формы раскопок и находок.



Как-то на раскопках Савицкий поручил и мне зарисовать карандашом часть раскопанной комнаты с глиняной суфой из сырцовых кирпичей. Я начал рисовать как академическую постановку, с растушевкой теней. Рисунком Савицкий остался не доволен. Он сказал, что задача археологического рисунка отличается от фотографии, которая бездумно фиксирует объект и что в рисунке надо передать научно осмысленную конструкцию находки. Позднее, когда я рисовал в соответствии с его наставлениями интерьеры и экстерьеры зороастрийского святилища недалеко от Аяз-калы, Елена Неразик, приняла рисунки и даже заплатила большие по тем временам деньги - около ста рублей!

В первый раз, в 1976 г., Савицкий взял меня на раскопки феодального замка на равнине перед тройным городищем Аязкала. Это были раскопки не Хорезмской экспедиции, а уже экспедиции нашего музея, который вступил, как бы, в конкуренцию с поздними отрядами Хорезмской экспедицией.

Я тогда должен был уехать в институт, но остался, потому что решил уйти из института. Нас было 6 человек. Савицкий (как обычно сварливый), Фаим (шофёр, похожий чем-то на Гогена) и художница Альвина Шпаде. До обеда я накидал много земли. Устал. Начал болтать с Альвиной об искусстве, о Ван Гоге, Курзине, Волкове, о её жизни, учёбе и т.д. Вспомнив сходство Фаима с Гогеном, заговорили о Гогене. Она говорила о Гогене как о «негодяе», «распутнике», «мошеннике». А ведь было не только это у гения. После него осталось высокое и признанное искусство, за которое ему пришлось за него заплатить страшную цену, смерть дочери. Но Альвина мне всё больше нравилась - за внешней грубостью она была очень добрая и беззащитная. Говоря о Савицком она называла его «Боженькой». Тут же появился «Боженька» и изверг на меня «громы и молнии» за безделье, но на следующий день за завтраком извинился. Мог бы и не извиняться, я тоже считал его кем-то вроде Бога.

Раскопки Савицкий начинал обычно затемно, часов в пять утра, когда только брезжил рассвет. Просыпался первым и тихо уходил на раскопки. Когда я вставал немного погодя, он, стоя на коленях в земляной пыли, уже копал ножом твёрдую землю и руками, как крот отгребал её за себя. Я же лопатой набирал землю в очень неудобную и шатковалкую железную тележку, отвозил в сторонку и там вываливал землю. Так мы работали в зное и в пыли весь день с коротким перерывом на обед. В один из таких дней, весь в пыли,

с лицом в потёках грязи, в чёрном от пота платке на голове он вдруг сказал: «Хорошо бы сейчас бокал холодного шампанского! Холодного! Понимаешь?» и рассмеялся, увидев моё ошарашенное лицо, которое мечтало хотя бы о холодной воде.

Помню глупую шутку рабочих, которая очень огорчила Савицкого. Эти рабочие были уже не российские фанаты Хорезмской экспедиции, а местные почти «люмпены», «бомжи»<sup>47</sup>, которых и можно было нанять на скудные деньги Савицкого. Один из них вылепил фаллос, высушил его, обжёл на костре и подложил под грунт, где копал Игорь Витальевич, который потом изумлённо и гордо ходил и показывал всем этот фаллос. По смеху этих придурков, понял в чем дело и надолго замолчал. Я пытался заглазить «шутку» объяснениями, взывая к его русской интеллигентности, мол, эти рабочие редко видели возвышенное, над чем следует смеяться в радости, а потому находят радость в низком. Помогло или не помогло, но горечь отступила от него в работе.

Второй раз, кажется в 1979 г., мы остались вдвоём с Савицким у крепости Джампык после отъезда других сотрудников музея. Вдруг к вечеру приехал на грузовике заведующий археологическим отделом музея Юрий Манылов и сказал Савицкому, что наш микроавтобус, возвращаясь в Нукус с работниками музея, перевернулся, столкнувшись с какой-то машиной на шоссе. У Савицкого подкосились ноги и он сел на землю. Манылов успокоил Савицкого, сказав, что никто серьёзно не пострадал. Этим же днём мы вернулись в музей.

И, оказалось, что кстати. Ночью у него начались сильные боли в полости живота. После медицинского обследования обнаружилась непроходимость кишечника. Его срочно положили в больницу. Было принято решение об удалении прямой кишки. Операцию делали в Нукусе. В больнице он сказал: «Эдик, ты представляешь себе, что бы было, и если бы мы остались на раскопках, и если бы уехали с теми, кто перевернулся?!». Я поддакнул - «И то и другое было бы ужасно!».

Врачи сказали мне, что обычно после такой операции живут около 5 лет, не более. Я не поверил, что годы его сочтены, потому что был уверен в мощи его Духа для выздоровления. Сам он ситуацию воспринял трагически, но не из-за угрозы своей жизни, а потому что не завершил ещё свои дела и планы. В музее не было профессиональных искусствоведов, но были огромные долги за приобретённые картины. Тем не менее, в нем уже светилась некая успокоенность человека, имя которого не умрёт и который сделал великое дело. Он прекрасно понимал своё величие, выказывая порой политический ум и остроумие. Стоило только видеть его во главе стола с сотрудниками музея, когда он с лицом Вольтера, как патриарх, передавал работникам музея опыт и знания! Но с годами стал забывчив, придиричив и ворчлив.

В том 1979-ом году недалеко от наших раскопок руководила раскопками одного из поздних отрядов Хорезмской экспедиции Елена Евдокимовна Неразик. Нам было слышно, как вдалеке она раздавала выговоры милым и раскованным девушкам из Прибалтики, которые работали у неё в экспедиции. Выговоры были за то, что они приходили к столу в купальниках после купания в канале.

Неразик копала тот же самый дом, который в 1970-м или 1971-м году открыл и частично отрыл Савицкий. В 79 году, продолжая раскопки этого дома, мы дошли до глубокого слоя пепла и угля. Савицкий тут же привёз для консультации археолога М.С. Лапирова-Скобло. Тот показал это место Неразик и она заинтересовалась находкой. Впоследствии в этом же месте и вокруг него она вела обширные раскопки в течение нескольких лет. Рабочими у неё все эти годы были, в основном, москвичи, и отчасти,

---

<sup>47</sup> Без определённого места жительства

ленинградцы. Из года в год одни и те же фанатики Хорезмской экспедиции и её легенд. Среди них был ветеран Хорезмской экспедиции, Напалков. Когда я учился в восьмидесятых годах во Всесоюзном реставрационном центре, недалеко от Театра на Таганке, я созвонился с Напалковым и мы отметили встречу и воспоминания в фотоателье на бульваре Гоголя, около «мужика в пинжаке»<sup>48</sup> - памятника Гоголю. Напалков в ателье работал фотографом. Представляю себе – сколько у него фотоснимков тех экспедиций, которые можно использовать для архива экспедиции и её истории! (Если только он не отдыхал от своей профессии в экспедициях).

Когда Неразик и археологи пошли вглубь того пепелища, то обнаружили, что это была большая феодальная усадьба. Темой научной работы Неразик были средневековые феодальные замки на территории древнего Хорезма. Интересные находки она сделала. Жаль, что у нас с Савицким не хватило сил тогда для масштабных раскопок. В восьмидесятом году вышел очередной том Трудов Хорезмской экспедиции, полностью посвящённый замкам, в том числе той феодальной усадьбе. Неразик передала том этой книги через меня академику Сабиру Камалову и выразилась обо мне так, я, якобы, не оправдал надежд Савицкого и не продолжил его дела на посту директора, потому что не умею ладить с людьми и, тем более, руководить ими. (Ну, об этом и сам Савицкий мне неоднократно говорил). И Ирина Коровой тоже укоряла тем, что Савицкий видел во мне продолжателя своего дела - «А ты не оправдал его надежды». Но у меня были свои надежды и планы.

Археологи снисходительно считали, что, Савицкий как археолог, мол, не профессионал, т. к. не признает школу Массона и Пугаченковой. Несмотря на эту снисходительность Савицкий не стеснялся консультироваться с археологами, спрашивая, правильно ли он копает. Он мечтал найти сокровища древнего Хорезма, как Шлиман в Трое, но копал не шурфы, как Шлиман, а по поверхности, по плоскости. Потому что нам было трудно в шурфах отличить глинобитную стену от обычной глины.

И Квон считал, быть может, ревнуя Савицкого к археологии, что в раскопках Савицкого нет научной ценности. Но раскопки были для Савицкого насущной необходимостью, особенно, в последние годы его жизни, как возвращение в молодость. Его одолевала тоска от директорства. Продолжать коллекционирование он уже не мог, был не конкурентоспособен в сравнении с богатыми музеями и коллекционерами, которые вдруг вспыхнули интересом к искусству русского авангарда, который Савицкий собирал в свой Музей.

В раскопках он отвлекался от нудной работы чиновника, от всевозможных заседаний и собраний директоров и чиновников. И прикасаясь к древней земле Хорезма, поработав два дня, уставший телом, но отдохнувший душой, он возвращался в Нукус и опять тянул директорскую ляжку до раннего утра следующей субботы. Его тяготили счета, бухгалтерия, просьбы к чиновникам выдать деньги на оплату уже приобретённых картин. Но деньги ему в начале 80-х годов уже прекратили выдавать и официально-законно, и неофициально-незаконно, как прежде. Возможно потому, что «номенклатура» и «партократы», чуя шаткость своего положения в «перестройку», предпочитали набивать золотом свои кубышки, а не заниматься меценатством.

Игоря Витальевича тяготили растущие долги перед владельцами не оплаченных, но приобретённых картин; «междусобойные» интриги растущего персонала музея; показы коллекции музея каким-нибудь «шишкам», которые раздражали его указаниями. Он говорил: «Они судят всё «по партийной линии» и приказывают снять те или иные картины

---

<sup>48</sup> Фраза комического персонажа из кинокомедии «Джентльмены удачи»



с экспозиций. Даже в министерстве культуры! есть только 2-3 человека, которые понимают что такое живопись». И ему приходилось подчиняться и вывешивать то, что «рекомендовали».

В последние месяцы своей жизни он повторял с горечью: «Какая это всё-таки глухая провинция!», проходя мимо коров и блеющих коз на помойках, мимо усыпанного битыми бутылками асфальта, мимо детей, играющих у стен ржавых гаражей и серых бетонных «хрущёвок». А я, поддакивая, напоминал, что где-то процветают Венеция, Париж и риторически вопрошал его – «Какой рок привёл нас сюда, в эту жуткую пустыню в стране, стоящей у края пропасти?»

К 1983 г. атмосфера в Музее стала невыносимой. Савицкий был постоянно раздражён, ему так опротивело директорство, что он всё больше свирепел в своём отношении к сотрудникам. Он задыхался и от болезни лёгких, и от непосильной ноши громады дел музея. Если вначале он вольно царил в своём деле, то теперь дело превратило его в своего раба. Он часто говорил, что смертельно устал от директорства, что никогда не хотел им стать и жаловался – «Зачем я связался с музеем, как я был бы счастлив бросить его!». Но как одержимый день и ночь работал, продолжая когда-то начатое любимое дело. Так бывает с людьми, которых ведёт по жизни чувство долга.

Когда он лежал в московской клинике и по-прежнему сетовал на бремя директорства музея, я по своей глупости поддакнул ему, сказав, что Сезанн называл музеи кладбищами искусства. Савицкий с возмущением и с намёком мне сказал: «Музеи нужны, прежде всего, художникам, чтобы ходить в музей и изучать картины. Но писать свои!». Несомненно, хлёсткие слова Сезанна были ему отлично известны так же как то, что они были сказаны Сезанном в запальчивости, в контексте отношения импрессионистов к музеям Франции, переполненным мёртвыми картинами «пуссенов».

И мне было трудно мириться с тем, что Игорь Витальевич, смиренный и отчаянный труженик, прошедший «огонь» (пожар в квартире и сгоревшие картины), «воду» (протечки воды с крыш и батарей отопления в музее), был втянут в ритуалы «медных труб» - в славословия мудрости КПСС и её роли в создании музея. (Но следует признать, что местные лидеры партии оказывали меценатство далеко от линии партии и рискуя тем самым своими должностями).



После смерти Савицкого, известный археолог Гудкова, которая была другом Савицкого и долгое время жила и работала в Нукусе, где писала о раскопках памятника Назлумхан-сулу, обратилась в письме в музей с предложением передать в библиотеку музея всю свою научную библиотеку по археологии. К ней поехал Октябрь, историк-археолог музея, и привёз огромное количество книг, в том числе первую монографию Толстого «Древний Хорезм». Хороший подарок сделала Гудкова музею в память о Савицком!

Говоря о Гудковой, я вспомнил, как летом 1980-го или 1981-го года, Савицкий велел мне взять кисть, краски, тряпки и мы отправились на кладбище. В центре русского кладбища, среди забытых могил, он нашёл место погребения матери Гудковой. Мы убрали высохшую траву с могилы. Затем Савицкий забрался за ограду, красил её изнутри, а я снаружи. В общем-то, он мог послать меня для этой работы, но делал её сам, что многое говорит об его отношении к Гудковой. В тот день Савицкий, под «кладбищенским» настроением, заговорил о том, что будет с музеем, когда он умрёт, в ожидании уверений в том, что я продолжу работу его дело, и заговорил о своём месте будущего погребения. Я промолчал про музей, но вполне серьёзно ему ответил – «Я буду глубоко чтить Вашу память, буду приходить к Вам, буду сажать цветы над Вами». Он понял меня и едко пошутил - «Конечно, будешь... сажать цветочки. А поливать будешь... из своего «шланга»?

Я был счастлив, когда мы выезжали с ним на раскопки, где он становился опять самим собой, а не «директором». В последние годы Савицкий предпочитал только крепость Джампык. «Да, это была сказка.» - говорил он, когда обходил крепость. То ли сказкой было то, что он представлял себе те времена, когда в крепости кипела жизнь, то ли вспоминал времена начала своей работы в экспедиции.

В волнистой перспективе барханов пустыни высились стены средневековых замков. На такырах<sup>49</sup> лежала в огромном количестве керамика, терракотовые статуэтки, изображающие людей и животных, даже монеты. Когда-то здесь кипела жизнь, жили и страдали люди со своими заботами, помыслами, смехом и слезами.

Десятки оссуариев с их останками Савицкий откапывал и громоздил на полках в канцелярии и в хранилищах Музея. А ведь, в сущности, эти оссуарии были просто глиняными гробами, в которых хранились кости и черепа умерших жителей древнего Хорезма, обглоданных начисто до костей зверями и птицами на дахмах<sup>50</sup>. (Гниющая плоть мёртвого человека не должна была касаться зороастрийских святынь – огня, воды и земли).

В связи с этим вспомнил забавную привычку Савицкого. Он никогда не мыл руки после раскопок, чтобы готовить или есть уже готовую еду, которую мы ранним утром или ночью готовили в Нукусе и привозили в двух небольших железных термосах, чтобы не тратить на приготовление еды драгоценное для раскопок время субботы и воскресенья. Как-то я не выдержал и спросил Савицкого, отчего он не моет руки перед едой? Он выразился, возможно, в шутку, что мыть руки было бы неуважением к святой земле древних городищ.

Спать мы ложились вскоре после ужина на раскладушках у чёрных громад верхних северных стен крепости, где по ночам свистел и выл ветер. Лежали и о чём-то говорили под бескрайней бесконечностью звёздного неба, в котором висел густой Млечный путь, как будто в пыли раскопок. Между Млечным путём и крепостью парила сова, шурша

---

49 Гладкая поверхность глиняной пустыни, после дождей и суши покрытая трещинами как кракелюрами на картинах

50 Искусственные цилиндрические возвышенности.

огромными крылами. Величие этой панорамы нарушала только дворняга, которая привязалась к нам и отгоняла лаем от нас сову. И, конечно, мешали восприятию величия комары.

О страстном стремлении Савицкого к местам и временам его молодости в годы Хорезмской экспедиции говорит случай, который потряс меня. В начале сентября 1984 г., когда я был на этюдах у крепости Джампык, вдруг узрел как к крепости едва брёл, почти полз Савицкий, как бы в рубище дервиша - на пыльной голове мокрый от пота платок, ноги обёрнуты пыльными тряпками, которые поверх обвязаны обрывками верёвок. Он, и без того едва живой от своей болезни, прошёл от шоссе, где его оставила попутная машина, несколько километров по раскалённой пустыне. Подошёл ко мне и с упрёком сказал запёкшимися чёрными губами: «Ты всё пишешь этюды и тебе нет дела до меня?». Даже не посмотрел на мои картины и не захотел слышать, как я пытался сказать, что не знал, что он собирается приехать к Джампыку.

Он знал, что смертельно болен, но пришёл проститься с местами своей молодости, как с собой самим. Савицкий устало сидел у подножья крепости и как в последний раз любовался разливом реки, в которую ветер ронял облачка тополиного пуха, всматривался в дальние горы и в скромные современные могилки на небольшом мусульманском кладбище у подножья древней крепости.

И я испытывал неописуемое ощущение в тишине этой пустыни, около гигантских стены крепостей, которые сползают под гнётом времени под пески барханов. Как-то раз я увидел себя там как на незнакомой планете, в окружении развалин розовых крепостей и неземных зелено-серых и пепельных гор. Тогда я искупался в реке, взобрался на стену крепости, скинул с себя одежды и всем телом почувствовал, что в мире есть только эти вечные крепости и горы, огибаемые Амударьёй - как рекой времени и над ними я, нагой и маленький человек. Как назвать это безмолвное ощущение этого единства с Вечностью и Вселенной?

## **ОТНОШЕНИЕ САВИЦКОГО К ЖИЗНИ И К СМЕРТИ**

Несмотря на щедедушность, Савицкий не был слабым и сентиментальным человеком. После суровой школы жизни у него сложился железный характер и очень рациональный, расчётливый ум, что и помогло ему стать тем, кем он стал. Несмотря на гнёт болезней и усталости, он торопился успеть сделать как можно больше и знал, что останавливаться нельзя. И никогда не позволял себе днём лежать, если только его не валили операции. Он выучил себя преодолевать невзгоды, болезни и прочие «мелочи» жизни. И говорил не раз, наставляя меня на путь истинный - «Все начинается с преодоления мелочей. Чтобы суметь совершить главное дело своей жизни, надо выделить и отбросить всё, что считаешь не важным для этого дела. И очень важно организовать своё время, подчинить его своему главному делу жизни».

В 1979 г. после удаления прямой кишки ему из тонкого кишечника вывели шланг в специальный мешочек, закреплённый на животе. Врачи назначили Савицкому диету. Вместо хлеба - сухари, вместо мяса - специальный фарш, который ему присылали в мешочках из серебристой фольги из Москвы. Возможно еду присылали его жена, учёный биохимик, или академик Ефуни и его жена писательница Калинина.

После этой операции его привезли из правительственной больницы в республиканскую и здесь же сделали повторную операцию после спайки кишок. Мама вечером сварила чудный бульон для Игоря Витальевича и радовалась моей «чуткости», а я деланно хмурился её похвалам. Савицкий выпил бульон. Я немного почитал ему Цвейга («Бальзак») и Зоценко («Голубая книги») и мой Старик уснул. Перед сном он говорил

трудности нашего времени, что все издёрганы, вымотаны, художники бедны, болеют. Хорошо, что он заснул. Игорь - хорошее имя, я хотел взять себе это имя как псевдоним.

У него была тяжелейшая интоксикация организма после операции и мучают сильные боли, несмотря на то, что медсестры вкалывают обезболивающие, но не морфий, а что-то вроде амидопирина, очень слабое средство от боли. Савицкий возмущается, а врачи мотивируют тем, что он может «привыкнуть» к морфию. Но уход за ним со стороны медперсонала отменный и санитарные порядки строгие. Савицкий доволен этим и даже поругивал меня за то, что я не надеваю халат, или надеваю не так как нужно, по всем правилам, когда вхожу в палату.

Сижу в палате. Положение катастрофически тяжёлое, но есть надежда, что мой Старик выкарабкается, надеюсь очень. Третью ночь он не спит. Я встал как обычно, в 6 часов утра, умылся, помог ему сделать туалет. Пока делали ему лечебные процедуры, сходил домой и впал в сон до 10 часов утра. Не сплю уже несколько ночей, но чувствую себя бодро - помогает счастливая идея запастись на ночь крепчайшее кофе и вино. Прикладываюсь к ним во время перекуров, пока спит Савицкий.

Вернулся к вечеру. Он спит. Стараюсь быть тише, чем мышь. Хотел подавить тараканов под его кроватью, задел таз, чудом он не загремел, но успел его ухватить ногой и рукой. Таз для мытья Старика купили с Вячеславом Алексеевичем ( замдиректора музея), съездив с ветерком на мотоцикле «Урал» в универмаг.

Старик проснулся, поужинал, послушал «Клавесинный концерт» Баха и опять уснул. Проигрыватель и пластинки взяли у Арслана, когда Савицкий заскучал в палате и сказал, что хорошо бы послушать музыку или новости. Внесли с Квоном в палату проигрыватель украдкой через окно, т. к. дежурная медсестра приёмного покоя не разрешила внести проигрыватель. Поставили проигрыватель на стул. Нечаянно или специально среди пластинок оказалась очень редкая пластинка с записями романсов и цыганских песен великой Вари Паниной, с её могучим, почти негритянским голосом. Как оказалось, эти песни были песнями детства и юности Игоря. Тогда я по своей юной самоуверенности утверждал, что Варя Панина русская певица. Нет, говорил Савицкий, - цыганка. Савицкий считал, что почти все великие русские народные певицы были цыганками. Эту пластинку я берегу. Когда-нибудь я отдам вещи, к которым прикасалась рука Савицкого в его Музей, если в нём уже есть уголок Савицкого с его вещами.

Когда в восьмидесятом году Савицкий опять лежал в больнице, но уже в Москве, он, видимо, вспомнил про пластинки и, разговорившись с одной из нянек, узнал, что она живёт недалеко от магазина «Мелодия» на Калининском проспекте. Попросил её покупать ему пластинки. И она покупала ему пластинки с песнями Александра Дольского, Окуджавы, даже «Бони М» и рок-группы «Uriah Heep». Приехав из Москвы, он подарил их мне и сказал, чтобы мы поделили с Арсланом. И эти пластинки я берегу для уголка Старика в Музее.

Вернусь в палату, где Савицкий лежит в реанимационной палате, узкой, но высокой и светлой. Его кровать в центре палаты. (На другой кровати, у стены дежурили я или Квон). Старик лежал лицом к окну и ночью мог видеть как в зеркале то, что происходит у него за спиной. Это отражение в окне помогло мне увидеть отношение Савицкого к смерти.

Сидим мы ночью, о чем-то беседуем с ним. Вдруг в палату вбегает врач и кричит, что для срочной операции нужна именно эта палата, т. к. операционная палата занята. Везли на каталке-носилках здорового русского мужика, работягу, лет около 50-ти. Он стонал от боли, тяжело и хрипло дышал. Как мы потом узнали, он пришёл с работы и стал просить у жены денег на водку. Та, естественно, подняла крик и не дала денег. «Ах, ты

так!» - он, бросился в кухню, налил в стакан уксусную эссенцию и залпом выпил. Когда его ввели, я увидел, что у него почернели губы, рот и даже часть груди. Почему-то не было медсестры. Врач принёс инструменты на столике-каталке и стал делать больному трахеотомию. Я начал ему помогать, подавая те или иные инструменты, вспоминая флотские навыки ассистента корабельного врача. Подаю инструменты, а сам думаю о том, каково всё это видеть Савицкому, который сам на грани жизни и смерти.

Руки мужика были привязаны к кровати, в которой он метался в судорогах, будто видел наступающую на него смерть и пытаюсь вернуться от неё. Через минут пять, пока доктор разрезал трахею и вставлял туда трубку, мужик вдруг глубоко вздохнул, сжал губы, замер, перестал дышать и его серо-голубые глаза потухли. Я начал закрытый массаж сердца. Доктор, молодой парень, каракалпак, стоял у изголовья больного. Я поднял глаза и вопросительно поглядел на врача. Тот молча рукой и глазами указал на небо, привязал большие пальцы ног мужика к спинке кровати и закрыл ему глаза. Тот лежал в блевотине на смятой окровавленной постели, безмолвный и бледный. Лицо его вдруг покрылось щетиной. Наступила мёртвая тишина после грохота стальных инструментов и наших с врачом голосов. В тот же миг из коридора вдруг раздался многоголосый плач жены и дочерей этого мученика. По внезапной тишине они догадались, что их отец и муж ушёл от них. Каталку отвезли в угол палаты, накрыв лицо мужика простынёй, к телу в воплях приникли женщины. Когда мы начали их выводить из палаты, ожидая, что они будут сопротивляться, они вдруг покорно вышли в коридор, посидели и вскоре ушли из больницы.

Я в волнении подошёл к кровати Савицкого, чтобы узнать, как он себя чувствует после всего что случилось. Оказалось, что он без волнения и с большим интересом наблюдал за нашей суетой в отражении тёмного ночного окна. И сказал мне восхищённо – «Я никогда в жизни не слышал столь прекрасный плач простых русских женщин. Это был божественный аккорд голосов, обращённых в небеса».

Об операциях на себе говорил просто и будто бы удивляясь своему равнодушию. «Люди обычно боятся операций. Я не боюсь, чтобы со мной ни делали. Мне все равно, что будет с моим телом». Я не спросил его – так ли всё равно ему и что будет с его душой, потому что узнал об его отношении к душе, когда мы заночевали у развалин крепости. (Наш шофер боялся злых духов развалин крепости и потому лёг в машине.) Я тогда был увлечён Буддизмом, и думал, что в буддизме душа не умирает в реинкарнациях, хотя потом-то понял, что Будда Душу вообще отрицал.

Я спросил - «Игорь Витальевич. Умираем ли мы с концами, умирает ли наша Душа?».

Он - «Эдик, мне кажется, что со смертью кончается всё. После смерти от и для человека, который жил, ничего не остаётся, это конец всего».

Я - «А как же учение религий о Душе?».

Он – «Я не знаю этих учений. Но убеждён, что религия это часть культуры. И нам следует, даже не веруя, придерживаться её традиций, чтобы не умерла культура, которая нас объединяет, и верующих и не верующих».

Он очень редко говорил на философские и религиозные темы, вернее, вообще не говорил, но в том, в чём он мне открывался, я видел его бессмертную Душу, которая живёт сейчас в его Музее, в его живописи, и в тех, кто вспоминает и поминает Старика.

## «НЫНЕ ОТПУЩАЕШИ РАБА ТВОЕГО, ВЛАДЫКО»

В августе восемьдесят четвёртого года Ирина Георгиевна Коровай дала в Нукус на адрес музея телеграмму о том, что Савицкому срочно нужна исырык<sup>51</sup>. Она знала, что в Каракалпакии исырыком отгоняли злых духов и эта телеграмма была оговоренный нами знак, что Савицкий при смерти. А у меня не было денег, не то что на поездку в Москву, но даже в Ташкент к детям, которых я не видел целый год. Савицкий знал, что я живу в нищете и предлагал: «Может быть, Люда пойдёт ещё на одну работу во Дворец пионеров?». Я отвечал, что у жены слабое зрение, ей нельзя напрягаться, а потому она не сможет работать и в детсаду, и ещё на одной работе.

Пойти в Министерство культуры, чтобы попросить деньги на дорогу? И не думал даже после моего отказа ехать на прополку хлопка после приказа министерства. Арслан предложил дать денег на дорогу. Но я медлил, был в ужасе, не мог и просто не хотел видеть смерть Савицкого.

Министр культуры сам вызвал меня, художников Жоллыбая Изентаева, Базарбая Серекеева, Марата Худайбергенова и велел получить в бухгалтерии, кажется, две тысячи рублей на затраты по перевозке Савицкого в Нукус. В Москве мы поселились в Постоянном представительстве Республики Узбекистан на улице Большая Полянка. Большую помощь нам оказал сотрудник этого представительства. Состояние у меня было такое, что я не запомнил его имя, но помню, как он очень помог нам, заказав цинковый гроб в отделе ритуальных услуг на Таганке, и помог с оформлением документов на перевозку Игоря Витальевича в Нукус.

В центре оксигенации Савицкого уже не было. Когда мы приехали к Ефуни, он холодно меня встретил, наверное, из-за того, что Савицкий не дождался меня. Попрекала и Ира Коровай: «Я же тебе намекала, неужели ты не понял что Савицкий при смерти, он хочет тебя видеть, хотел тебе что-то важное для него сказать».

Тело Савицкого получили в морге в дождливое холодное утро. Гроб был очень лёгкий. Повезли на жёлтом автобусе, «ПАЗ»ике, в храм Николы в Хамовниках. Внесли в церковь и поставили гроб рядом с двумя покойниками. Ирина Коровай сказала, что Савицкий, якобы, просил отпеть его по православному обряду. Скорее всего, это было её решение, глубоко верующей православной христианки.

Священник положил повязки с текстом молитвы на головы покойников. Савицкий лежал в том же самом сером костюмчике, в котором приехал в Москву. На лице было выражение глубокого и нерушимого покоя. Над гробом возвышались огромный лоб, впавшие глаза, сложенные руки с узлами вен, большие руки рабочего. Этими руками он в юности работал на заводе, а затем перелопатил горы земли на раскопках. Губы его были выдвинуты вперёд и чем-то склеены. Я понял, что в рот ему что-то вложили «для красоты», т.к. у него не было ни одного зуба. В руки была вложена свеча. Отпевание проводил полный пожилой священник, о котором шепотком почтительно старушки, что он служил полковником в КГБ и ушёл оттуда в церковь, чтобы отмолить свои грехи в служении Богу.

Нукусские художники вышли из церкви и спросили меня - можно ли им, мусульманам, присутствовать при христианском обряде отпевания? Не помню, что я сказал, но мы вошли в церковь. Очень красиво пел хор: «Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром».

---

51 Каперсы, гармала или степная рута

Гражданская панихида была на Новом Арбате, в Доме художников. Собралась огромная толпа, говорила речь Мариника Бабаназарова. И на отпевании, и на гражданской панихиде было много народа, в том числе соратники Савицкого по Хорезмской экспедиции. Рядом со мной стояла Елена Неразик и Григорий Потанин с женой Катенькой. Неразик со значением его спросила, не из тех ли он казаков Потаниных? «Из тех!» - гордо ответил Григорий, крепкий чернявый молодой казак с усами. Он тогда работал художником в цехе мультипликации на Мосфильме, жил он на втором этаже дома Фаворского. На этом же этаже была квартира Дмитрия Жилинского, племянника художницы Симонович-Ефимовой, которая в свою очередь была племянницей Валентина Александровича Серова.

На панихиде я увидел графика Рудольфа Хачатряна. Экземпляр альбома с его работами, изданный в Финляндии на прекрасной глянцевой бумаге, был у меня в Нукусе. Не в силах видеть обряд, вернее тело Савицкого, я осмелился подойти к Хачатряну, поздоровался, представился и сказал ему, что мне очень нравятся его рисунки. Он мне возразил – «Я не считаю их рисунками». Потом, рассматривая тот альбом, я понял, что Хачатрян нашёл себя в больших портретных работах, выполненных карандашом на левкасе чертёжных планшетов. Точно так же как на древнерусских иконах, но которые писали на досках. По долговечности и по громадности труда, Хачатрян вполне справедливо не считал их рисунками, хотя в репродукциях они выглядели как обычные рисунки. Да, они не соответствуют теории рисунка Фаворского, в основе которой была теория скульптора Адольфа Гильдебранда о так называемом ввинчивании формы в пространство. С этой точки зрения рисунки Хачатряна казались аморфными и отличались в своём стиле и от смиренных или монументальных, могучих или простодушных работ Фаворского, и от изящных женских образов Николая Ульянова из его серии воображаемых портретов. Но в рисунках Хачатряна был свой узнаваемый и неповторимый голос. Кроме того, Хачатрян покорила своим искусством Москву, а это дано не всякому. Художник он, на мой вкус, несколько салонный, но достоин места в истории искусства.

Олег Потанин, который стоял рядом, потом спросил меня знаком ли я с Хачатряном, и когда я сказал, что впервые его вижу, он весьма удивился свободе моего общения с ним. Я надеюсь, что Рудольфу Хачатряну было приятно в глубине души, что о его творчестве знают молодые художники с окраин страны.

После прощания с Савицким в Доме художника, мы с нукусскими художниками, отвезли Савицкого в аэропорт и... сдали на товарный склад. Мои коллеги-художники, талантливейшие ученики Савицкого, вернулись в гостиницу постпредства. А я поехал на поминки в дом Фаворского, в квартиру единственной дочери Фаворского, Машеньки. В её столовой висела картина Павла Кузнецова. На поминках были Шаховской (сын Машеньки), молодые супруги Голицыны и другие. Маша и Ирина Коровой сотворили из масла и чеснока вкусную приправу, которой мы закусывали горькую водку поминок.

На рассвете мы с земляками встретились в аэропорту, занесли Игоря Витальевича в багажное отделение самолёта и прилетели в Нукус тоже на рассвете. Нас уже ждали художники. Первым ко мне подбежал дядя Володя (Атабаев), огромный великан в слезах, и спросил как беззащитный ребёнок: «Эдик, что же мы без него будем делать?».

Привезли Савицкого в музей. Всю ночь суетились, готовили поминки, пришла помогать и Мария, старенькая матушка Квона. Я был измучен московскими хлопотами и Арслан отвёз меня домой, выспаться до выноса Игоря Витальевича из музея.

Днём при ярком солнечном свете собралось ещё больше людей, чем в аэропорту. Среди них был и великий художник Николай Пак, прилетевший на похороны из

Ташкента. Во дворе музея он в сердцах поругивал Алексея Квона за то, что тот перестал работать и приводил пример трудолюбия Игоря Витальевича, почему-то сравнивая его с Лениным, «...который иногда отдыхал, а Савицкий никогда не отдыхал».

В Москве, когда Савицкого отпевали, священник показал мне бумажный кулёк с сухой землёй, который положил в гроб под подушку и сказал: «Если вы после этого отпевания вскроете гроб, то этим прахом надо обозначить крест на его груди, чтобы заново освятить». Так и случилось на кладбище, где все попросили открыть гроб, чтобы попрощаться с Савицким, хотя в гробе было стёклышко, через которое было видно его лицо. Достали топор, стамеску, вскрыли гроб и увидели, что голова его лежит на щеке. Атабаев поправил голову. Я начал насыпать поверх его костюма крест прахом из кулёка, который достал из-под подушки, но министр культуры отодвинул меня, наверное, для того, чтобы «мероприятие» не сопровождалось религиозным ритуалом. (Власти тогда ещё публично продолжали «исповедовать» атеизм, но уже были готовы так же публично принять Ислам). Когда стали засыпать гроб землёй, Арслан увидел, что меня бросает из стороны в сторону, я еле стоял на ногах, увёз меня, мы напились, и я уснул.

Похоронили Игоря Витальевича Савицкого в 1984 году на небольшом смиренном христианском кладбище. Часть кладбища к Востоку на восход солнца была ещё свободна. Мы с Ларисой Штогриной установили табличку с именем и датами смерти и рождения Савицкого, поправили и обсыпали свежий холмик над Савицким. Я внешне бравировал тогда своим спокойствием, но душой горевал, понимая, что чем дальше уходит время, тем чаще мы будем вспоминать его с уже нескрываемой болью. А через 10 лет кладбище уже было заполнено крестами и надгробиями русских людей, занесённых в Азию ветром истории из России.

Всплыло в памяти, как я сопровождал на кладбище Наташу Глазкову, директора ташкентского Дома музея имени Тансыкбаева. Рано утром купили цветы и поехали на кладбище. Таксист, мусульманин, не знал, где находится христианское кладбище, и я назвал ему улицу, где по пути будет больница, тюрьма и кладбище. Наташа, как мне показалось, истерично расхохоталась: «Всё рядом для человека – тюрьма, больница и кладбище!».

Опять память цепляется за имена. Тансыкбаев умер в 1974 г. в Нукусе, когда приезжал в музей, чтобы взять свои ранние работы на свою юбилейную выставку. Савицкий тогда уклонялся от встречи, тянул с передачей Тансыкбаеву его картин раннего периода творчества, боялся, что он не вернёт их обратно. Художники ли выказали слишком высокий уровень гостеприимства, сказала ли долгая дорога за рулём «Волги» от Ташкента до Нукуса, но сердце Тансыкбаева не выдержало ни того, ни другого. Тансыкбаеву тогда было 70 лет.

В 1984 году, когда Савицкого был в московской больнице, эти картины все-таки кто-то отправил из музея в Ташкент на юбилейную выставку к 80-тилетию Тансыкбаева. Савицкий тогда позвонил из Москвы и всех отругал. Но картины вернулись в музей.

Через месяц после смерти Савицкого умер другой художник - Музаффар Ещанов, который был женат на Гулайим, племяннице художника Кдырбая Саипова. Музаффара отправили на родину, в Таджикистан, погрузили с большим трудом в самолёт в том же деревянном ящике, в котором привезли Савицкого. И после смерти Савицкий помог художнику.

Через год после похорон Савицкого, на собранные у каракалпакских художников деньги на кладбище был поставлен памятник работы Дамира Рузыбаева – бронзовый мальчик, играющий на дудочке скромную и божественную мелодию. На постаменте лаконичная надпись - «Савицкий Игорь Витальевич» и даты «1915-1984 годы». 69 лет



подвижнической жизни. Памятник чем-то напоминает мальчика (скульптуру Матвеева) на могиле живописца Борисова-Мусатова. Но тот мальчик спит.

## ПРОЩЕНИЯ И ПРОЩАНИЯ

Было всякое у меня с ним – и охлаждения и примирения, и ссоры и дружба. Но я всегда почтительно сохранял между нами незримую грань, через которую не переступал, не позволяя себе фамильярности. Я его даже побаивался, особенно в последние его годы, когда он стал тяжёл характером из-за страданий, которые ему доставляли и болезнь, и опостылевшее директорство. Особенно, в последние годы мы не ладили со Стариком. Ругались, откровенно говоря. Я хотел писать, стать художником, а он хотел, чтобы я служил «завскладом» картин в музее и реставрировал чьи-то картины, в место того, чтобы писать свои.

В последнюю мою поездку в Москву с Савицким, он сказал мне намёком (никогда не говорил прямо об отношениях между собой и кем-либо) - «Эдик, мне кажется, что в последние годы между нами пробежала чёрная кошка». Этими словами он мне сказал всё – и что прощается со мной, и что простил меня.

Как поздно я пришёл в мысли, что все мы вышли из небытия и уйдём в небытие и в этот краткий миг жизни мы должны любить друг друга, потому что в могилах мы навечно будем лежать порознь. Там, в тёмном провале, никто не услышит слов дружеского участия, ни ощутит ласкового прикосновением руки. Как поздно мы понимаем, что жить надо с любовью к близким при их жизни и так, чтобы не осталось места угрызениям совести, отчаянию и тоске от того, что доставил боль близким, ушедшим из жизни до твоего ухода.

Я помню все сны о нём. В последнем из них он вошёл в мою комнату. Повесил свой пиджак на спинку стула. Я встал и надел его пиджак, но он оказался настолько невероятно тяжёлым, что я согнулся в три погибели и не смог распрямиться, так был тяжёл «пиджак Мономаха<sup>52</sup>». А он взял пиджак, легко накинул на свои плечи и пошёл. Шёл и весело смеялся. Я ему вслед: «Игорь Витальевич, Вы же умерли!». – «Нет, Эдик, я жив». Наверное, этот сон навеяло то, что перебирая свою одежду, я увидел его пиджак, свитер и несколько платков, которыми он повязывал голову на раскопках. Всё это я получил на его поминках, где его вещи раздавали на память сотрудицам Музея.

К своей смерти он относился с усмешкой. Как-то в очередной раз после его разговоров о своей смерти я, в желании польстить ему, сказал: "Игорь Витальевич, когда Вы умрёте, Вам построят Мавзолей, как Ленину, и к нему будет стоять огромная очередь". Он отшутился: "Ты проследи, чтобы у мавзолея туалет построили, а то всю могилу загадят". В последний мой приезд в Нукус я пришёл к нему на кладбище на постаменте по-прежнему стоял маленький бронзовый мальчик с флейтой. А вокруг мусор, мусор, мусор и нет ни мавзолея, ни туалета, ни очередей к ним. (Музей всё же очень похож на его мавзолей и там есть туалет, правда, платный).

Когда я был в последний раз у его надгробия, то вспомнил его слова про туалет у мавзолея, вдруг захотел пописать, отошёл за забор, вспомнил, как он пошутил когда-то про цветочки на его могиле и про мой «шланг», когда мы красили оградку над погребением матери Гудковой, и... заплакал.

Признаюсь, я его любил недостаточно, я был молод, с гонором, думал больше о себе, о своём творчестве, о семье. А он..., Старик..., СТАРЕЦ... любил меня... как непутёвого сына.

---

52 Реминесценция фразы царя Бориса Годунова из одноимённой трагедии, автор А.С. Пушкин. Шапка Мономаха - корона, символ царской власти.



И моё время теперь подходит к концу. Всё чаще мне чудится приближающийся хор и всё громче звучит - «Ныне отпускаеши РАБА ТВОЕГО ВЛАДЫКО с миром...».

Скоро, скоро мир и покой снизойдёт и на мою душу<sup>53</sup> и оставит меня наконец-то этот проклятый кашель.

### **Послесловие**

Как неисповедимы пути и дела Твои, Господи, так причудливы и тропы и судьбы твои, человече! Я понимаю, как и почему носит людей по миру, как и почему встретились в небольшом оазисе в среднеазиатской пустыне внук киевского дворянина и внук ишана из казахской степи. Но не могу понять – кто заронил в них искру, которая сожгла их жизни в служении своему призванию? Наверное, тот, кто ответит на этот вопрос, ответит на вопрос о смысле человеческой жизни.

---

<sup>53</sup> М. б. и не следовало упоминать об этом, но уж очень горько до сих пор за то, что брат не нашел мира и покоя. После продажи квартиры, где он жил 16 лет с его многочисленными картинами и книгами, и где никто из его родственников не мог жить, где все напоминало о нём, следователи почуяли запах денег. Кто-то от их имени предлагал мне дать им взятку, чтобы не было эксгумации, но я ответил «ПНХ». Если бы я дал взятку это стало бы моим косвенным признанием вины в смерти брата. В отместку следователи провели эксгумацию.